

М. УЧЕНИК

БАУБЕК

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПОВЕСТЬ

г. Жезказган

1991 год

К 75-летию со дня рождения
БАУБЕКА БУЛКИШЕВА —
поэта, солдата, военного публициста.

АННОТАЦИЯ

Автор предлагаемой документальной повести — **УЧЕНИК МИХАИЛ СЕМЕНОВИЧ** — член Союза журналистов СССР, лауреат премии имени **БАУБЕКА БУЛКИШЕВА**.

Повесть охватывает три четверти XX столетия. В ней рассказывается о сложной судьбе, жизни и творчестве казахстанского поэта и военного публициста Баубека Булкишева.

Автор изучал многие годы материалы, посетил Улытау, Алма-Ату, Москву, Днепропетровск и Днепропетровскую область.

Многие факты прежде не публиковались. Книга иллюстрируется 9 снимками, большая часть их — впервые.



1. Баубек Булкишев казахстанский поэт и военный публицист, заместитель политрука 21-ой саперной роты 13-ой армии. Снимок сделан не позднее 1941 года на действующем фронте — (личный архив автора).

ВМЕСТО ПРОЛОГА

Любовь, как хорошая песня, приходит один раз и остается на всю жизнь. Встреча с казахстанским поэтом и военным публицистом Баубеком Булкишевым состоялась у меня через 36 лет после его гибели далеко от Казахстана, за Днпром. Я встретился с его стихами, которые порой восходят к шекспировским трагедиям, честной публицистикой солдата, перенесшего все тяготы жесточайшей войны, письмами человека, для которого забота о людях была главной заботой всей его короткой и чистой жизни.

Тогда для меня произошла метаморфоза его воскрешения из мертвых, обретение им второй жизни. Я обратился к той земле, на которой Баубек вошел в жизнь и, к той другой, в которой покинута его прах. Там я понял, что земля, хотя и разделена пространством, на самом деле преобращает общую ценность духовного единения людей разных национальностей, поколений, отделенных друг от друга временем.

На Днепропетровщине в Новоюльевке лучшая сельская улица названа именем Баубека Булкишева. Чистая и опрятная с асфальтированной дорогой, тротуарами, молодыми садами в усадьбах, добротными дворами и пристройками, домами из красного кирпича, в которых живут животноводы, строители, сельские механизаторы. За улицей имени Баубека Булкишева-школа-десятилетка. С помощью колхоза имени Богдана Хмельницкого, усилиями преподавателей ребята создали школьный музей боевой и трудовой Славы. Он размещен в пионерской комнате, где есть уголок Баубека Булкишева. Под стеклами витрин — его фотографии довоенных и военных лет, публикации, письма с фронта.

За правлением колхоза, среди тенистого парка воздвигнут памятник павшим защитникам и освободителям украинского села. 161 воин покоится здесь под чугунными плитами. Плиты эти отлиты из металла криворожскими металлургами в знак признательности и благодарности солдатам, открывшим путь наступавшим советским войскам к их городу, оккупированному фашистами.

У братской могилы я спросил десятиклассника Ивана Сарухана:

— Скажи, а почему из 161 вонна, похороненных здесь, особые почести новоюльевцы оказывают именно Баубеку Булкишеву?

Юноша ответил мне:

— Наши бабушки и дедушки рассказывали нашим матерям и отцам, а они вот нам, что Баубек Булкишев был человеком необыкновенным... За короткое время, которое провел он в Новоюльевке, его узнало и полюбило все село.

Мнение семнадцатилетнего Ивана Сарухана совпадает с воспоминаниями однокашника Булкишева Мукаша Бимагамбетова.

«...Все в ауле любили его за покладистый характер, почтительное отношение к старшим. Таким Баубек и останется навсегда в памяти людей».

* * *

На юге Центрального Казахстана нет местности прекрасней сказочных гор Улытау. Они начинаются сразу за убогой Бетпак-Далой — злой пустыней. Граниты дыбятся островерхими зубчатыми глыбами. Подходы к ним сентябрьским днем пламенеют красными, ярко-желтыми, фиолетевыми листьями осин, манят к себе еще неопавшей зеленью белоствольных, искореженных берез. Деревья небезобразны, а наоборот, — красивы своей самобытностью. Издали кажется, что березы ведут сказочные хороводы.

На самой окраине Сарлыка льется песня. Она о земле, дружной трудовой семье, той радости, когда в дом собираются гости...

Мой спутник Ермагамбет кладет руку на мое плечо, останавливается. Он коренаст, по-стариковски силен, лицо обожжено солнцем, ветром и морозом, усталые, прищуренные, зоркие глаза в сетке морщин. Тяжело опираясь на палку, Ермагамбет говорит мне:

— Смотри.

Я пытаюсь что-либо разглядеть и ничего не вижу.

— Да не туда ты смотришь, — досадует мой жокай, — прямо на дорогу смотри... Видишь теперь, — идет.

В далекой синеватой дымке бабьего лета мелькнуло подобие тени.

— Это он. — Говорит Ермагамбет.

— Кто?

— Поэт.

— Какой?

— У нас его называют по-разному, кому какое имя больше нравится. Но главное не в этом. Поэт шел из Бетпак-Далы в горы. Впереди себя он увидел девушку с распущенными мягкими волосами. Ими играл ветер. Они казались ласковой водой ручья и пахли молодой травой. Девушку поэт не догнал. Она от него убежала. Но песню он написал: о счастье, которое трудно догнать.

Ермагамбет замолчал. Дорога круто повела в гору. Деревья подошли к нам совсем близко, окружили нас, зашелестели листвою.

— Это путь на Алтын-шоке — золотую сопку, — вновь заговорил он, — когда мы поднимемся на вершину, ты сам все увидишь и поймешь.

Поднялись. Я смотрел, верил и не верил глазам своим: кратер был глубокий, с самого дна его пахло гарью.

— Не может быть!

— Почему же? — спросил Ермагамбет.

— Но, прошло шестьсот лет...

— Почти шестьсот, — уточнил Ермагамбет.

— Да, верно, согласился я, и вспомнил исследователя здешних мест профессора Поппэ. Он писал по этому поводу: «В год овцы 793 Тимур прибыл в страну Токмак в поход на Тохтамыш-хана»...

— Тимур — сын Чингис-хана на Алтын-шоке приказал вырыть глубокую яму, сложить в нее все, взятые в походах сокровища, натащить дров и поджечь. Гигантский костер пылал дни и ночи, освещая все окрестности на сотни верст.

Ермагамбет нагнулся, поднял тяжелый спекшийся темно-серый, ноздреватый камень, в гнездах его лежали черные древесные угли.

— Возьми на память, — предложил он, — всегда будешь помнить нашу землю.

Я поблагодарил его и принял дар.

— Давай спустимся в Сарлык, — предложил Ермагамбет, — отдохнешь, поешь, я расскажу тебе сказку... Может быть совсем это и не сказка, а так все и было.

Осенний день недолог. Вечерело. Солнце катилось вниз.

Ермагамбет смотрел туда же, где разгорался закат.

— Вот на той самой вершине, говорят люди, и похоронен Асан-Қайғы, Асан-ата, Печальник. Он прожил много, может быть девяносто пять, может быть сто двадцать лет... Асан-Қайғы всю жизнь мечтал о счастье для людей. Странник сел на одногорбового верблюда в Тургае и отправился в Сары-Арку. Он искал Жер-Уюк — «Земной, невыдуманной рай». Там люди живут до ста лет, скот дает молодняк два раза за год; им не угрожают вражеские набеги, не бывает здесь жестоких джутов, уничтожающих скот. В Жер-Уюке растут высокие густые травы, реки и озера обильны рыбой. Всюду прекрасные пастбища. Люди не знают печали и, вражды, заботы не беспокоят их покоя. В Жер-Уюке все равны, все счастливы, все дружны, народы не воюют между собой, все племена живут в мире и согласии.

Когда бесбармак был съеден и чай выпит, Ермагамбет снял со стены домбру.

— Хочешь, я спою тебе песню. Это толгау Асан-Қайғы хану Джанипбеку.

Ермагамбет склонил голову, его закорузлые пальцы натруженных рук коснулись струн и движения стали мягки и проворными.

Ермагамбет пел:

...Без меня тебе правды не знать,
А без правды народу страдать.
Если слушать меня ты не будешь,
То легко тебе все потерять...

Песня лилась. Ночь опустилась над Сарлыком, тихая и нежная, какие бывают в Улытау только ранней осенью. В окно заглянула далекая, голубая звезда. Ее свет был чистым и трепетным.

— Какого поэта показал ты мне сегодня? — спросил я Ермагамбета, когда его песня стихла, и он, задумавшись стал смотреть в окно, будто надеясь там кого-то разглядеть. Хозяин долго не отвечал, оставаясь со своими мыслями. Потом сказал:

— Поэта звали Баубек... Он был сыном почтенного в Улытау Булкиша, внуком Байконура, правнуком Акутбая, рожденного от Бабыра — зачинателя всего их славного рода, который продолжается и в наши годы.

* * *

Стылый туман полз с гор. Серая густая влага цеплялась за острые каменные пики, опускалась на ветки голых осин, расбросанных по ущельям, старые крепкие пни, тяжело падала на мхи и лишайники, скользкими делала узкие тропы. В прорехи тумана смотрелось холодное закатное небо Сары-Арки. С Тургайской степи к горам, мчался посланец Амангельды Иманова. Он был высок, легок, силен и долгий путь не был ему утомительным. Сарбаз доскакал к саманному дому, осадил коня, соскочил на пожухлую траву. Конь весело заржал, довольный, что долгая стремительная скачка закончилась, что его ждет заслуженная им передышка, питье и корм. — Гость открыл дверь и приветствовал хозяина:

— Мир дому твоему, почтенный Булкиш.

— Кудери?

— Что не узнал? Так изменился? Или не ждал?

— Не ждал, Кудери. Как здоровье, как доехал?

— Дорога хорошая, — скромно ответил гонец.

— Путь не ближний, Кудери, сядь, передохни, поешь, — приглашал хозяин, указывая место на кошке подле себя, и, подкладывая под спину гостю мягкую подушку.

Анипа поставила перед ними поднос с душистым овечьим мясом сдобренным диким степным луком, разлила по кисешкам густую, сытую, наваристую сурпу, положила баурсаки. — Ешь, Кудери, улыкнулся Булкиш, и по его задубелому от ветров и солнца лицу побежали морщинки.

Сарбаз уважительно, всеми пятью пальцами взял кусок мяса. Оно таяло во рту, и только теперь подумалось ему, что хорошо бы плотно поужинать, да отоспаться вот здесь в гостеприимном доме на мягких подушках. Но Кудери сразу отогнал соблазнительную мысль, потому что знал: отправляться в обратный путь надо как можно быстрее.

— Булкиш, — сказал Джолдыбаев, — Амангельды-батыр просил тебя собрать людей, сказать им, что из Тургая в степь приезжал губернатор. Он прочитал царский указ о «реквизации» всех мужчин на военно-тыловые работы. Амангельды ответил губернатору: баи и чиновники отняли у нас степь, наш скот угнали в солончаки. Теперь хотят отнять наших мужчин... Кто же станет кормить женщин и детей? Голод погубит народ... Булкиш, скажи людям Сарлыка: не будет губернатору от нас защиты... Пусть кто может собираются и скачут в отряд Амангельды Иманова на бой с губернатором и царем за степь свою, за свой скот, за свою свободу... Скажи, Булкиш, и пусть тебя поймут люди Сарлыка и всего Улытау. И еще передай всем то, что сказал Амангельды в Терсбутаке на народном собрании: «Мы достаточно терпели. Указ царя возмущает народ и затрагивает его честь. Мы должны наконец решиться и выступить против царя.

Не пожалеем самой жизни и будем биться до последней капли крови...»

— Передай, Кудери, батыру: я скажу, как он велел. Люди верят Амангельды, они так и сделают, потому, что знают, — Иманов любит людей... Он умный и видит далеко, дальше губернатора и самого царя, потому, что от самих истоков жизни идет, от того, как было в древности, а не теперь. В великой Истории государства Российского записано: «По просьбе бия Айхажи 23 ноября 1798 года император Павел утвердил подданство оставшейся части Среднего жуза. 14 марта 1800 года царь повелел не чинить обид его подданным казахам; любому

учреждению беспрепятственно принимать заявления, написанные по-казахски... В царствование Николая Первого по просьбе сибирского султана Конаркулжи в 1834 году было утверждено царской подписью решение: «казахов в солдаты не брать».

— С тех пор прошло почти сто лет, и заповеди дедов не стали святым законом для их внуков...

— Мы изменим жизнь, Кудери... И, если потребуется, все, как один станем сарбазами, так и передай Амангельды-батыру.

— Спасибо, Булкиш. Батыр верит тебе. Теперь мне пора, время не ждет. Прости.

— Постой. После того, как у меня родился сын, ты первый, Кудери-сарбаз и акын, — вошел в мой дом... Дай новорожденному имя. Кудери улыбнулся, подумал, подошел к стене, снял домбру и запел.

— Кудери Джолдыбаев, — закончил свой рассказ Ермагамбет, — пел о просторной степи, ласковом солнце, которое вновь согреет землю после стылой осени и холодной зимы мятежного одна тысяча девятьсот шестнадцатого года...

К весне подрастет малыш, — пел Кудери, — и пусть будет он всегда здоровым, и долго проживет на свете.

Булкиш ответил Кудери, акыну и сарбазу: так и назовем сына, как ты сказал бауы берик болсын — Баубек.

Давно перевалило за полночь. Я слушал. Сна не было.

— А что стало потом? — спросил я, — Как сложилась его жизнь?

— Она вобрала в себя многие другие жизни, которые продолжают и сейчас... Во мне, в тебе, в каждом из нас, в тех, кто еще не родился...

— А тогда?

— Тогда?

Семья Баубека, малочисленная и не богатая, имела достаток. Булкиш и Батима любили, когда в дом приходили гости. Собирался скромный дастархан: ели мясо, пили чай с молоком, рассказывали друг другу новости, играли на домбре, пели песни...

Все обычно замолкали, когда начинал говорить хозяин дома, признанный балагур и остро слов. Привлекала к себе всеобщее внимание хозяйка. На много моложе мужа, гибкая, стройная, обаятельная женщина с живыми карими глазами. Батима слыла в округе лучшей певуньей.

Еще бывало до рождения сына, очень счастливая его ожиданием, ходила она гулять по окрестностям Сарлыка, которые начинались сразу за их домом. Шла она медленно по узкой тропе к горам. Дни стояли мягкие, безветренные, теплые, ярче... Обычно Батима останавливалась возле купы березок на широкой поляне. Смотрела долго, мечтательно, полная ожидания. Она ждала возвращения мужа. Он все не шел.

Батима звала его:

— Булкиш! Эй, Булкиш, Бул-к-и-и-ш!

Ответа не было. Только многократное эхо вторило ей:

— Иш-иш-иш...

Да случайная неведомая птица высвистывала грустную песню прощания с летом. Батима подпевала птице, и, горы, весь мир, окружающий этот дуэт, вторили им. Батима пела о радостном, солнечном дне, любимом муже, о том, что скоро у нее родится его, Булкиша, сын, такой же красивый, добрый, смелый и сильный, как он сам...

— Надежды Батимы, — вздохнул Ермагамбет, — не сбылись... Счастье не поселилось в их доме. Да разве только у них?

Одержав победу в гражданской войне, новая власть поспешила осуществить основную идею социалистической революции — обобщить труд людей, сделать общим достоянием народа заводы, фабрики, землю... Через десять лет после победы Октябрьской революции, на пятнадцатом съезде партии первый секретарь Казахстанского краевого комитета ВКП(б) Филипп Исаевич Голощекин требовал: «...установить жесткий режим в советской работе, жесткий режим в нашем быту...» А еще через два года Голощекин формирует идею необходимости «...достичь оседлости степняков на базе коллективизации». И, это в то время, когда городское население уже жило в условиях обострившегося кризиса, приобрело хлеб,

мясо, жиры по карточкам, Наркомат по делам заготовок, получив от Сталина чрезвычайные полномочия, за счет разорения крестьянства, голода в городе и селе, приобретал валюту. Современники тех лет свидетельствуют: «...в начале тридцатых годов скот в кыргыз — казахском крае еженедельно падал десятками тысяч голов; хлеба во многих новых колхозах не было — его сдавали в госпоставки». Точная цифра погибших в Казахстане от голода, спустя шестьдесят лет, неизвестна, — продолжают свидетельствовать исследователи в своих «Фрагментах времени» В. Григорьев и Ю. Шапоров, но по самым осторожным подсчетам, — констатируют они, — цифры погибших «колеблются в пределах 1 миллиона 110 тысяч — 1 миллиона 500 тысяч... Это примерно 15 процентов населения республики, из них 700 тысяч — казахи, остальные русские, украинцы...»

Голод, — продолжал Ермагамбет, — не пощадил и родителей Баубека: умерли его отец и мать, мальчик остался сиротой.

В дом к себе его принял двоюродный брат Булкиша, школьный учитель из Коргантаса Сейтжан Смаилов. Он был большой и щедрой души человек, выделялся среди других не только своей рослой фигурой, но и широтой ума, неиссякаемой добротой и чуткостью. Закончив медресе в Троицке, Сейтжан Смаилов знал литературу Востока и Запада. Баубек охотно постигал знания своего покровителя. Уроки Сейтжана открывали одаренному ученику огромные миры в области литературы, истории, географии. Жена Смаилова, Бибигуль, помогавшая мужу в обучении подростков, говорила аульным ребятам: «Не обижайте Баубека, у него золотая голова. Когда он сердится, у него волосы на макушке встают торчком. Так часто бывает у честных, сильных и умных людей». Баубек уехал из Сарлыка в Карсакпай учиться счетовому делу в только что организованной тогда там, по настоящему Каныша Имантаевича Сатпаева, школе фабрично-заводского ученичества; практику проходили на шахтах Байконура, в том самом месте, где сейчас находится всемирно известный космодром Байконур.

Однажды в рабочий поселок Карсакпай с каким-то пакетом для директора металлургического завода прилетел на двухкрылом самолете нарочный из Москвы. Невиданную здесь никогда воздушную машину, сбежалась посмотреть вся поселковая ребятня, не отказали себе в удовольствии и любопытные взрослые.

Мальчишки, что называется, облепили самолет, — летчик не возражал: он понимал, что кроме прямых своих обязанностей пилота, выполнял политико-воспитательную работу: пропагандировал в казахской глухомани рождающуюся советскую авиацию...

Мальчишки сначала робко, а потом, осмелев, трогали пропеллер, крылья, колеса, пытались заглянуть в кабину. Школьный учитель Абдрахман Токтыбаев долго, молча наблюдал ребячью страсти, затем подошел к летчику и сказал: — Уважаемый, видите сколько счастья вы принесли детям... Большое вам спасибо. Вот если бы вы смогли еще их поднять вверх, покатасть на самолете. Пусть свою родную землю увидят с высоты птичьего полета, — на всю жизнь будет им память... А товарищ, летчик?! Пилот зачем-то посмотрел в небо, на мальчишек, поселок с огромной заводской трубой, подумал, протянул руку учителю: — Якши, жолдас*, пусть будет по-вашему... И к ребятам: разбнитесь по группам и, первая тройка в самолет, марш!

Восторгам не было предела. Баубек сначала почувствовал легкий толчек, самолет покатился по траве, набирая скорость, оторвался от земли и закачался, земля вместе с домами поселка наклонилась, потом выпрямилась, осталась где-то внизу узкой голубой лентой речки Камулы с белыми точками лилей, округлыми фиолетовыми сопками, острой грядой шлакового отвала, заводскими корпусами цехов, длинными, каменными домами; вверху, совсем рядом было чистое, густое голубое небо... Баубека обуяла радость: он смотрел на мир, который стал вдруг большой, круглый и глубокий, широко открытыми глазами; сердце то учащено билось, то за-

* хорошо, товарищ (узбекский, казахский).

тихало, и тогда становилось спокойно и хорошо. Все его существо заполняли мысли, которым трудно было сразу дать объяснения. Они складывались в удивительно сами собой создающиеся строчки:

...Я в космос взлечу,
До Марса дотронусь рукой...
...О мир так велик,
Но с помощью книг
Я знаю, весь мир станет мой*



2. Вот такая она эта земля, где родился в горах Улытау, близ Байконура, Баубек Булкишева.

* Через семь лет, эти-строчки вошли в стихотворение Баубека Булкишева. «Моя мать — истина», написанное в мае 1939 года.

На каникулы Баубек всегда приезжал домой в Сарлык. Здесь дышал он настоем чебреца и мяты, любовался цветением медоносного желтого донника, говорил со звенящими ручьями, наблюдал облака... Самым лучшим занятием для него было прогулки с ребятами в горы. На этот раз тоже пошли всей гурбой. Самая интересная дорога — берегом извилистой Джездинки. Баубек увлекся, наблюдал зигзаги берегов, бег воды, ушел далеко вперед от сверстников. Мысли и слова сами собой складывались в стихи:

Эти камни одеты цветистым ковром,
Нежным, ярко-зеленым и мягким мхом
Словно шелком легким покрыты они.
И сверкают под солнечным нежным лучем
Каждый робкий росток,
Каждый яркий цветок.
И разносится эхо песни печальной.
И журчит среди скал, убегая поток...
Все имеет смысл свой изначальный*

...Где-то впереди раздался отчаянный крик.

— Эй, скорей! Скорей! Заяц плачет! — звал Баубек обернувшись к ребятам.

Они подбежали все сразу, остановились, затихли, стали слушать. Его большие, карие глаза блестели. Крик раздался вновь. Это было последнее отчаяние живого существа, зовущего на помощь.

На поляне, среди причувливо изогнутых берез, ястреб, вцепившись в спину зайца, таскал его по траве. Безнаказанный, он увлекся, но, когда почувствовал, что и ему самому

* Эти строки через восемь лет вошли в поэму «Айсуду» («Прекрасная луна»), которая была закончена Баубеком Булкишевым в 1940 году. Отрывки поэмы предполагалось напечатать в республиканском сборнике «Тарту» («Подарок») к 20-летию Казахской ССР. Но по настоянию влиятельных спонсентов поэта в книгу стихи не вошли. Впервые поэма полностью была опубликована в 1985 году в книге Баубека Булкишева «Жизнь пренадлежит нам» (Алма-Ата, издательство «Жалын» («Пламя»)).

грозит опасность, бросил несчастную жертву, взмахнул тяжело крыльями и улетел.

— Вот вам наглядный пример хищничества, — сказал Баубек — теперь вы все видите, как сильный может обидеть слабого?!

Ребята молчали. Окровавленный зверек лежал распротертым и тяжело дышал. Он словно понимал, что беда миновала, заглядывал людям в глаза своими косыми, и оттого еще более жалкими глазами, и очень хотел избавиться от боли. Баубек поднял зверька, взял на руки и понес к речке. Обмывая, приговаривал:

— Да будет тебе, длинноухий, успокойся, теперь все позади. Заяц окончательно пришел в себя, воинственно выпрямил поникшие было усы и благодарно посмотрел на спасителя.

— Беги, брат, беги, да впредь не попадайся.

— Такое кушанье отпустил, ай-я-яй, — прищелкивая языком, досадовал сельский силач и задира Отеубай.

— Глупец. Ты, что не видел его слез?!

— Но ведь зайцев едят, — не унимался, наступая Отеубай.

— Слабым помогают, — сказал Баубек и направился к тропе.

Отеубай преградил ему дорогу:

— Ты хочешь, чтобы все было только по-твоему. Ты самый умный в ауле. Самый добрый среди нас?! Фезеушник...

— Я хочу, чтобы все было по-справедливости.

— Справедлив тот, кто сильнее. Разве, умник, ты не знаешь, что в окрестности нет никого сильнее меня?

Действительно, Отеубай всегда первым затевал борьбу со сверстниками и всегда выходил из этих поединков победителем. Баубек обычно стоял в стороне, наблюдал и не вмешивался.

— Э-э, Отеубай, не хвались попусту.

— Померемся: кто-кого.

— Давай.

— Не боншься?

— Не боюсь.

— Да будет вам, ребята, — понимая, что вышел не спор, а ссора, вмешался Ермагамбет.

Ержан поддержал Ермагамбета:

— Лучше давайте на перегонки: эй, кто скорей заберется во-о-он на ту гору?! Побежали...

— Стойте! властно приказал задира и все остановились, — Правда должна восторжествовать. — Вы все сейчас посмотрите, как захрустят и переломятся его косточки. Страшно, правденик?

— Пустомеля ты.

— Нападай. Ну! — Отеубай растопырил пальцы и первым кинулся на Баубека. Он попытался с налета повалить противника, цепко обхватив его руками. Баубек стоял, широко расставив ноги и не думал сдаваться. В такой позе они замерли, не уступая друг другу и шагу.

Из ребят никто не заметил, как вмиг Баубек напрягся, чуть присел, сделав движение вперед, всем телом, оторвал Отеубая от земли и поднял над собой. Он смотрел на него снизу вверх, запрокинув голову. Отеубай как не силился, но так и не смог вырваться.

— Ты хотел этого, так, что не обесудь, — и бросил задиру на землю.

Ребята поздравляли Баубека, его друга Ермагамбета. Баубек происшедшему особого значения не предал.

Он сказал:

— А теперь сделаем вот что: пойдем в аул и спросим аксакала: пусть он скажет кто из нас прав.

— Дети, — ответил почтенный старик, когда они ему все рассказали по порядку, — тот у кого поселилась в сердце доброта и жалость в молодости, став взрослым, сохранит в себе эти бесценные качества на всю жизнь.

Домой Баубек возвращался с Ермагамбетом. Солнце окрасило небо в красный цвет. Баубек остановился. Он смотрел на горячий закат и думал. Ермагамбет глянул на дорогу и от неожиданности вскрикнул.

— Ты, что?

— Смотри!

Баубек глянул. В дорожной пыли, готовясь ко сну, грелась, прищурив бусенки глаза, длинная толстая змея. Баубек стал ее разглядывать. Она почувствовала взгляд — заволновалась, но не уходила.

— Ереке, ты видишь? Ведь эта обжора пытается проглотить воробья, дремота мешает ей, и он застрял у нее в пасти еще живой.

Она давится им, а не выпускает.

В руке у Баубека была палка. Он тронул ею змею. Она приняла грозный вид и в ярости забила хвостом по земле. Воробышек вывалился. Пестрое, гладкое туловище змеи напряглось, глаза выпучились. Она поджала хвост и приготовилась к броску. Баубек все смотрел на нее. Поодаль в пыли барахтался птенец.

— Бей! Укусит. — Не выдержал Ермагамбет.

Баубек замахнулся. Потом рука его замерла и медленно опустилась.

— Чего ты? Она на нас готова кинуться, видишь, как злился, — не унимался Ермагамбет.

— Отец с детства учил меня: сильный не должен обижать слабого.

* * *

В Алма-Ату добирались в четвером: учитель из школы фабрично-заводского ученичества Абдрахман Токтыбаев, командированный Карсакпайским комбинатом в столичный горно-металлургический институт, брат Абдрахмана Габдулла Батышканов, его сестра Шауен Токтыбаева и Баубек Булкишев. Путь оказался долгим, сложным и трудным. Из Карсакпая, где все встретились, до станции Джусалы — пешком. В Джусалах взять билет на поезд оказалось почти невозможным. Только благодаря командировочному удостоверению Абдрахмана предоставили два места.

Токтыбаев, сокрушаясь, все спрашивал то Баубека, то Габдуллу:

— Что делать-то будем? Как вам теперь быть? Возвращаться? — Ни за что! — ответил Абдрахману Баубек и, заговорщески подмигнул Габдулле.

— Ты что хочешь сделать?. Что? — все еще волнуясь спрашивал Токтыбаев.

— Не переживайте, учитель, все правильно. Вам по старшинству, даме, как даме — честь и место, а мы вот по молодечки... Вот увидите... Скоро посадка.

При этом Баубек улыбался, глаза его светились, а на щеках обозначились две милые ямочки.

Абдрахман и Шауен зашли в вагон. Баубек в след им помахал рукой. А когда поезд стал набирать ход, крепко схватил Габдуллу за руку, вскочил вместе с ним в тамбур.

Проводника на месте не оказалось, и они не замеченными прошли в купе, где разместились Токтыбаевы.

— Счастливого пути! — озорничал Баубек, нам вот туда на третью полку, под крышу и, с комфортом, учитель, все вместе добираемся до Алма-Аты.

— А в Арыси, на пересадке?

— Закрепим проделанный опыт, вот и все...

* * *

Директор Казахского объединенного издательства, поэт Абу Сарсенбаев обычно летом приходил на работу рано. Те два часа, пока не было сотрудников, он отдавал творчеству. Абу успевал сделать на много больше, чем за весь предстоящий день, как правило, занятый у него организационными обязанностями администратора и многочисленными встречами с людьми, больше ищущими для себя от литературы, чем несущие что-либо ей.

«Казогиз» готовил к изданию «Слова назидания» Абая Кунанбаева и, ему, Абу Сарсенбаеву, предстояло подготовить книгу к печати. Размышляя над философской мудростью Абая, Абу время от времени смотрел в открытое окно, за которым виделся зеленый ствол тополя и кусок городской улицы с ее приглушенным гомоном идущих где-то людей, редких автомобилей, близким журчанием воды в арке, свежим легким ветром, несущим с гор свежую и чистую прохладу.

Время от времени Сарсенбаев брал со стола исписанный лист бумаги, начинал ходить с ним по комнате, вдруг останавливается у окна и читал вслух:

«Хорошо ли я прожил до нынешнего дня, плохо ли, но прой-

дено немало. Всего было вдоволь в этой жизни: и споров и тягостных пересудов, и борьбы, и недостойных есбр... Но вот, когда уже виден конец пути, когда обессилил и устал душой, я убеждаюсь в бесплодности, в суетности и бренности человеческого жизни. И терзает мысль: чему же посвятить остаток дней своих. Чем заняться?

Попытаться облегчить страдания народа? Невозможно. Народ неуправляем. На это идет только тот, кому судьбой уготовлена людская неблагодарность и проклятия, или молодость, чье сердце горячо и не извело горячи поражений, петлицу, сохрани аллах от искушения. Может быть умножить стада? Не хочу. Пусть дети, если им надобно, разводят скот сами. Было бы грешно тратить последние силы на то, чтобы облегчить существование воров, лиходецев и попрошайек. Постигать науки и дальше? Не получается. Не кому передать свои знания, как не у кого и взять их. Что толку сидеть в пустыне, разложив дорожную ткань и держать в руках аршин?

Когда не с кем поделиться своим горем или радостью, то и сама наука оборачивается тягостью: быстрее старит человека.

А может посвятить себя Богу? Не выходит. Для веры прежде всего нужен покой. Откуда взяться благочестию, когда ни в чувствах моих, ни в повседневной жизни нет успокоения и в помине? Эта земля не терпит богомольцев. Заняться воспитанием детей? Не могу. Воспитывал бы, если б знал, как и чему их учить, и нужно ли это вообще народу, который я вижу сегодня. Непредставляю будущего детей, достойного применения их образованию и силам, поэтому не мыслю и пути воспитания.

Наконец решил...»

— Простите, ага...

Абу Сарсенбаев обернулся на голос, весь еще в размышлениях Абая...

— Я давно здесь стою, — продолжал Булқишев, — не хотел мешать Вам... Доброго утра, ага!

— Здравствуй, Баубек! Хотел наедине с Абаем побыть... Делаю отбор... Есть указание не все «Слова назидания» включать в книгу...

— Так что решил делать Абай «чему посвятить остаток дней своих?».

— Ах, да... Слушай, что пишет он дальше: «Возьму в спутники бумагу и чернила и стану записывать все свои мысли. Может быть, кому-то придется по душе какое-нибудь мое слово и он перепишет его для себя или просто запомнит, а если нет — мои слова, как говорится, останутся при мне. На этом я остановился, и нет у меня иного занятия, чем письмо».

— В Абае, в его творчестве собралось все свободолюбие, вся мудрость казахов. Так говорил мне мой учитель Сейтжан Смаилов и, позже, изучая литературу, историю, общественные науки Востока и Запада, я понял, что мой наставник был совершенно прав.

Вот послушайте, ага, в подтверждение того, что Вы только-что прочли:

Восторженной хвале толпы
Не верь — то лесть!
Недай двуликим хитрицам
Себя оплесть...
Верь лишь себе и знай: твой ум,
Твой честный труд —
Вот тот оплот, где для тебя
Спасенье есть.
Глушом доверчивым вовек
Не будь с людьми.
Страстей славословья жар
В груди уйми.
Пленяясь ветренной молвой,
Ты лжешь себе...
Попытки марево обнять —
Лишь блажь, пойми!
Обрушилось ли горе, вдруг —
Противостой!
Процвел ли миг — пренебреги,
То цвет пустой!
В глубь сердца своего уйдя,

Храни, лелей
Сокровище, что обретешь
Ты в глуби той.*

— Вот как! Bravo, Баубек, — дослушав до конца Булкишева, воскликнул Абу Сарсенбаев. — Семена Абая попали в благодатную почву и дали, я надеюсь, крепкие всходы. Так надеялся и поэт-мыслитель, понимаешь, и через десятилетия пришлось по душе его слово, вот тебе, вот таким как ты...

— Я еще слишком молод Абу-ага...

— Это и хорошо, что молод, значит будущее, хотя и тревожное, в надежных руках... Слово Абая отозвалось в новом поколении и, отзовется еще много раз... Стихи Абая, только-что прочитанные тобою, Баубек, еще раз утвердили меня в мысли, что книгу надо готовить, как можно быстрее и без всяких купюр...**

— Но, Вы сами сказали, что «есть указание...»...

— Ни каких указаний. Книгу печатаем полностью. И ты можешь мне в этом.

— Я?

— Именно ты.

— Но я не редактор и даже не литературный сотрудник, а просто делопроизводитель и ваш помощник, Абу-ага.

— Вот и хорошо, что помощник, значит будешь помогать. Сам ведь тоже пишешь, Баубек, ты ведь и переводы на казахский делаешь... из Гете, Шиллера... «Разбойники», к слову, монолог Амалии, а?

— Что вы, ага, где мне с великим немцем тягаться?

— Скромничаешь? Зачем?! Если человек даровит, он не только должен, обязан развивать свой талант. Но как бы он талантлив не был, в одиночку все равно дорогу к людским душам не пробьет. Создать — создашь, донести свое творение один — не сможет. А ты говоришь «где тебе тягаться с великими?» — тягаешься ведь. Разве не твой перевод: «...Все

* Эти стихи Абая Кунанбаева без названия имеют дату— 1987 год, в них предтеча многих слов назидания.

** Первое полное издание «Слова назидания» Абая Кунанбаева вышло в свет только через 32 года — в 1970 году.

перевернулось в этом мире! Нищие стали королями, а короли — нищими...»

— Не перевод это, а просто выписки... Я веду для себя записи мыслей великих людей, некоторые диалоги героев близкие мне на казахском языке, вот и все, ага. Я учусь их системе мышления, чтобы составить свою систему: через прошлое понять настоящее, увидеть и осмыслить будущее. Меня привлекает в их произведениях романтический пафос, мера чувства, психология явлений... Но, простите, как вы узнали об этих моих занятиях?

Глаза Булкишева блеснули, волосы на голове шевельнулись и, впрямь, на макушке поднялись торчком.

Абу снисходительно улыбнулся.

— Ты зря сердишься. Чистая случайность и я невольно проник в твою тайну. А чтобы ты не в чем не сомневался, расскажу, как было дело. На днях вернулся я из типографии, помнишь, зашел к тебе за ключами от своего кабинета. Вижу, перед тобой толстая книга, читаешь ты ее и что-то записываешь в блокнот, перечеркиваешь записанное, снова пишешь. Вид у тебя был на столько отрешенный, на столько ты был в шиллеревских драматических событиях, что отвлекать тебя было просто грешно. Я подошел к тебе близко на цыпочках, и, не хотя, прочел твой перевод на казахский язык. Вот и все. Если тебе не приятно — прости.

— Это вы меня простите, ага, за горячность мою и невежество.

— Пустое. То, что ты делаешь — пример для других. Хвалю. Но казахскую литературу ты не читаешь. И за это тебе мой укор.

— Читаю, ага. Только наша литература еще слаба. Не обессудьте за откровенность. Хорошие произведения по пальцам пересчитать можно.

Не всегда я нахожу в них то, что хочу... Хотя бы глубину постижения, поверхностны образы, характеры... Не у всех конечно, писателей, но у многих... Вот покойный Саттар Ерубаев, но он рано ушел из жизни и литературы.

— А свою как оцениваешь поэму «Сын Каратау»?

— Это лишь проба пера. Ученичество.

— И все-таки прочти.

Баубек потупил взгляд.

— Не хочешь поэму, тогда рассказ. Тоже ведь написал.

— Нет, ага, простите... Я сначала прочитаю сам и... и, если мне позволит совесть, побеспокою вас... потом.

* * *

Баубек еще раз перечитал послесловие к только, что законченной поэме «Айсулу» поставил дату: февраль, 1940 год... Он не хотел того, что в конце концов произошло с его героями, жизнь сама распорядилась их судьбами, иначе быть не могло. Погиб от руки Халела любимый Айсулу Жумадильда, но и сам не спася от удара ножа, который нанесла ему равная в схватке с ним подруга Айсулу Айман.

«Что за черная, кровью омытая ночь?» — Спрашивал поэт и не находил ответа... Он оторвался от рукописи, завалившей стол, посмотрел в окно. За стеклами, во дворе лежал белый, чистый, свежий снег. Снег изнемагал в потоке теплого солнечного света. Где-то совсем рядом стучала капля, над миром светило высокое голубое небо и воздух был напоен пока еще едва ощутимым, но уже властными своей терпкостью запахами грядущей весны.

Вчера они были в театре. Черный, грозный, жалкий мавр стоял перед постелью Дездемоны:

С прощальным поцелуем

Я отнял жизнь твою и сам умру,

Пав с поцелуем к твоему орду.

«Что за черная, кровью омытая ночь? — вновь повторил Баубек и снова не нашел ответа.

Из театра они шли молча и каждый думал о своем. Уснуть он не мог все эту бесконечную, долгую мучительную ночь. Перед рассветом, его подняла неведомая сила. Он поднялся, тихо ступая по холодному полу, подошел к двери, за которой была ее комната. Он толкнул дверь: Она спала, разметав по подушке мягкие волосы. Рубашка ее слегка сбилась с одного плеча, обнажив тонкую ключицу. Он тихонько позвал ее. Она открыла глаза и позвала его взглядом, будто ждала. Он сделал шаг и руки их встретились.

...В дверь постучали.

— Войдите! — сказал Баубек.

На пороге появился незнакомый парень.

— Добрый день! Вам повестка из военкомата, распишитесь в получении.

Проводить на вокзал пришли Мукан Иманжанов, Муса Аханов и Катира. Она, кого он больше всего ждал, не пришла. Было тяжело на душе и хотелось плакать. Баубек все отворачивал от друзей лицо и думал, о том что пройдет еще много лет, будет очень много событий, но никогда больше не увидит он ее, Мукана, Мусу и Катиру, этого вокзала, горы, бескрайнюю степь как небо, уже напоенное весной.

11 марта 1940 года Баубек написал из Москвы Иманжанову:

«...Живы-здоровы, устроились. Стали солдатами. Учения уже начались. За пять дней мы научились многому. Сегодня суббота, и у нас выдалась свободная минутка. Все пишем письма домой, а я вот тебе...»

Служба проходила в знаменитой Первой московской пролетарской дивизии, служили в ней и сыновья политических эмигрантов из многих стран. Они вынуждены были принять советское подданство - венгры, болгары, немцы, испанцы... Они уже успели испытать на себе все ужасы фашизма. Булкишев обрадовался, когда узнал, что вместе с ним служит сын председателя Коммунистической партии Испании Долорес Ибаррури - Рубен Руне Ибаррури. А вскоре на дивизионной комсомольской конференции они познакомились. Началось с того, что председательствующий на конференции объявил: — Слово представляется Рубену Ибаррури. Он недавно вернулся из Испании, где сражался с фашистами. Был интернирован французами и заключен ими в концлагерь. Но смог бежать...

Грохот аплодисментов обрушился на идущего к сцене высокого стремительного человека в ладно пригнанной форме лейтенанта Красной Армии.

— Дорогие товарищи, — начал Рубен, — делегаты воинских подразделений. Вашу восторженную признательность я отношу к героям-бойцам интернациональных бригад, сражавшихся в затоптанной, но не покаренной Испании.

Стало очень тихо. Ибаррури продолжал:

— Я лучше всего, товарищи, скажу вам, что сказала моя мать Долорес Ибаррури солдатам республиканской роты на передовой линии фронта за поселком Гвадаррама: «...Надеяться мы должны прежде всего на себя, на свое оружие, на свою храбрость... Никто ни когда не мог до конца победить народ, который борется за свою свободу. Можно превратить Испанию в кучу развалин, но нельзя превратить испанцев в рабов... Придет время — и наше дело победит. Знамя демократической республики будет реять над всей Гвадаррамой, над минаретами Кардовы, над башнями Севильи».

Так будем достойны наших матерей, товарищи!» — закончил свое выступление Ибаррури.

После конференции Булкишев остановил Рубена:

— Большое вам спасибо — рахмет, — это по-казахски, — за наших матерей...

Ибаррури вскоре узнал, что Булкишев пишет стихи:

— Если можно, прочтите чтонибудь из своего — попросил Рубен в одну из последующих их встреч.

— Хорошо, — согласился Баубек, Вот эти. Они — о моей матери:

...Трудно ей приходилось.

Жизнь в ауле легка ли?

Слезы часто струились

По морщинам в печали.

Дети радостью были,

Жизнь ее украшали.

Но порою не мы ли

Так ее огорчали?!

Рубен долго молчал, осмысливал только что услышанные им строчки, потом сказал:

— Да, Баубек, вы очень правы: к величайшему сожалению мы, сами не понимая, что творим, огорчаем своих матерей... Ибаррури интересовала далекая и от Москвы, и от Испании, совсем ему неизвестная родная земля Булкишева, таинственная и сказочная Сары-Арка — «золотая середина». Степи,

горы Улытау, строги Тянь-Шаня под Алма-Атой...
Баубек знакомил Рубена с казахской землей, ее народом,
читая свои стихи:

Улытау величавый полон красоты,
Так сверкает, что взор не отнимешь ты.
Белокрылою юртой на юге лежит,
Протянув горделиво на север хребты.
Изумрудные камни на солнце блестят,
Маки алые у подножья горят...
...Серебром на камнях засверкало окрест,
Одеяло шелковых облаков,
Как наряды красавиц — юных невест.
Иногда сбросит вестер рукою бывалой
Облака,
Как красавица покрывало...

Последний раз Булкишев и Ибаррури виделись мельком в июле 1941-го года, когда дивизия отбивала яростные атаки немецких фашистов на берегу Березины. Здесь Рубен был ранен...

О дальнейшей судьбе Героя Советского Союза командира пулеметной роты, старшего лейтенанта Рубена Рунса Ибаррури рассказала его мать Долорес Ибаррури в своих воспоминаниях, изданных в Москве, в 1988 году, через 47 лет после описанных событий:

«Н. С. Хрущев, в то время член Военного Совета Сталинградского фронта, сообщил мне, что 3 сентября мой сын Рубен погиб... Сам Хрущев только что потерял сына на одном из фронтов... До трагической кончины сына, 13 августа 1942 года я получила от него несколько строчек:

«Дорогая мама! Извени за молчание, но я не знал, куда меня назначат. Сейчас я могу сказать тебе это. Место, где я нахожусь, мне знакомо. Я учился здесь на летчика... Мое желание — как можно скорее включиться в боевые действия. Ты можешь быть уверена, что я выполняю свой долг молодого коммуниста и солдата».

«Июнь—июль 1941года.

Западный фронт.

МУКАЖАН!

нос, ты уже получил мое предыдущее письмо. Сейчас ходимся в окопах у одного из городов Белоруссии.

Бедная моя мама, часто вспоминаю ее в последнее время. Знаешь, как она поговаривала: одна нога на земле, а другая уже в могиле. В общем, думая, рассуждая, я пришел к мысли, что отдать жизнь за свой народ не жалко. Вместе с начинаешь сожалеть о том, что не оставил в этой жизни ничего следя. Товарищи, друзья и особенно родная земля, не забывайте еще дороже.

Дух Красной Армии — это тот дух, который радует друзей и заставляет плакать врагов. Меня очень радует, то, что промив их, я смогу сам об этом писать в истории Отечественной войны для казахов.

Очкам передавай от меня привет. Жив-здоров. Об остальных, наверное, догадываешься. На душе нет ничего такого, что я бы от тебя скрывал.

Кду писем. Крепко обнимаю и целую. Твой Баубек.

Мой адрес: полевая почта 736, п/я 36 литер. 21».

* * *

В том сорок второго, юго-восточнее Курска, между Козельском и Ржавыми на высоте 116,7 разгорелся жестокий бой. Вавом скате вылинявшей под солнцем горюшки обоснованная малая часть обороны Брянского фронта. Немцы прошлись неоднократно, сбрасывая вниз наши роты.

Наши бойцы снова брали высоту, укреплялись на ней, надеясь, что больше ее не сдадут. После очередного штурма Баубеку достался удобный надежный окоп, вырытый немцами. Вслед за Булкишевым туда же прыгнул бегущий следом за ним стрелок. И очень даже это оказалось кстати: Баубек как раз перезаряжал автомат, а немцы воспользовавшись моментом зайдя в тыл, наседали. сосед мгновенно стал стрелять к Баубеку и начал стрелять короткими, прицельными очередями. Заработал и автомат Баубека.

Судя по звукам, не сговариваясь, распределив секторы обстрела, оборонялись в круговую. Рота стояла насмерть: 18 часов

длились контратаки немцев и лишь к вечеру гитлеровцы откатились в низину. Только теперь Баубек посмотрел на своего товарища. Тот был молод, коренаст, на перепачканном бледном лице поблескивали серые глаза.

— Тебя как зовут?

— Сергей. Я здешний, в красновском колхозе работал... А ты?

— Из Казахстана. Слышал о горах Улытау?

— Н-н-е-ет. — Ответил, запинаясь Сергей, прикусив губу. Лицо его передернулось, он согнулся, схватился за ногу, потому что терпеть больше не было сил.

— Ты ранен?

— Да-да-а.

Баубек вытащил его из окопа, взвалил на спину и понес. На перевязочном пункте, ожидая отправки в госпиталь, Сергей сказал:

— Может быть, доведется побывать в моем селе, тут совсем недалеко, дом на самой окраине с высокой липой у дороги... Повидай отца, передай привет Любе, мы вместе с ней школу окончили. Она в селе осталась, а я на фронт ушел.

Судьбе было угодно, чтобы Баубек выполнил просьбу Сергея. После ночного короткого боя поредевшая рота заняла Красновку. Булкишев искал людей. Наконец он заметил сгорбленную фигурку. Она шевелилась на одном из дворов, в развалинах.

— Ты одна здесь, мать?

Старуха разогнулась, посмотрела на стоявшего перед ней солдата.

Тебе нужны люди? — ответила она. — Они вот там, в ложбине, в землянках... зима скоро...

— Спасибо, — поклонился Баубек женщине и пошел туда, куда указала она.

Седобородый старик, отец Сергея, узнав, что сын его жив, заплакал. Хлопоча возле чайника с кипятком, он рассказывал о том, что немцы перестреляли почти всех и сожгли село. Потом взял гостя за руку и повел из становища обратной дорогой. Шли и молчали. На околице, возле тихой липы они

остановились. Только теперь Баубек увидел под деревом свежий могильный холмик.

— Вот здесь, — выдохнул старик моего Сергея Люба лежит. Он перекрестился.

Может быть еще встретишь Сергея. Вы люди военные, а на войне пути чаще всего бывает пересекается. Я знаю, сам в первую мировую воевал. Передай сыну: Люба была дойтойной девушкой, пусть помнит ее.

Старик вынул из ватника завернутый в шелковый белый платок бересту.

— Вот, видишь, гвоздем нацарапано. Перепиши.

«Мой дорогой! Я в погребе. Немцы повесят меня за то, что я выполнила партизанский приказ — убила предателя. Я по-прежнему люблю тебя. Тебя и Родину. Прощай, Сережа. Идут. Это за мной. Целую тебя».

* * *

За колхозным садом, на высотках, — немецкие позиции. О них не думалось. По утрам августовская свежесть, надвигающейся осени, дышала ароматом краснобоких яблок, перломутровых от патины. Ни с сего ни с того немцы начинали обстрел. Визжа, мины карежили землю, секли ветки, валчили деревья, яблоки скатывались в рывины. Под обстрелом саперы, строившие дзот, волочили за собой ползком огромные бревна, стелили накаты. К вечеру работа была окончена и взвод старшего лейтенанта Булкишева ушел к себе в землянки на отдых. Каплецкий разыскал ведро, разогрел воду:

— Помоемся, товарищ старший лейтенант.

— Спасибо.

Булкишев снял гимнастерку, сложил в пригоршню ладони, набирал в нее воду, смеясь и фыркая, старательно растирал голову, шею лицо.

— Теперь ваша очередь, — сказал он Каплецкому и взялся за черпачек.

После ужина Каплецкий устроился на ночлег, а Булкишев присел у входа в землянку на пне, достал из полевой сумки толстую тетрадь сшитую им из немецких карт, полистал ее, нашел чистую оборотную страницу, вынул из нагруд-

ного кармана карандаш, задумался.

— О чем вы, товарищ старший лейтенант?

— Пишу.

— Что?

— Роман.

— Роман?

— Да.

— Сейчас.

— И сейчас, и раньше...

— Ложились бы вы спать, завтра ведь второй дзот делать.

— Не хочу я спать.

— О чем роман, товарищ старший лейтенант?

— О жизни.

— Почтайте.

— Хорошо.

Булкишев перелестнул несколько страниц.

— Вот это место:

«В конце февраля в Алма-Ате уже появляются первые признаки весны — рушатся из-под крыш сосульки, намочает становится серым снег, а воздух наполняется тревожными запахами. И чувствует сердце. Выйдешь из дому поутру, дышишь и никак не можешь надышаться. На фоне белесых склонов Алатау город кажется чудесным видением.

Солнце еще не взошло, но пики вершин уже начинают дуть, искрить бесчисленными рубниками ледников. Но показался нестерпимо жаркий краешек его.

Горы так высоки, что кажется, будто солнце с большим домом взбирается по их ребристым уступам. Лучи его охватывают все большее пространство; ширится, разливается золотого света. Снег словно течет с гор алым потоком, неют пятна лесных массивов, черные ребра скал. А во все уже вовсю польхает пожаром рассвета.

Наконец солнце выкатывается из-за гряды и золотым куполом повисает над вершинами Алатау. Теперь лучи достигают предгорий и освещают проснувшийся город.

Есть что-то неопиcуемо торжественное и загадочное во всей этой картине наступления нового дня. Все вокруг становится немножко нереальным, сказочным. И сам себе кажешься оторванным от земли, парящим над ней. Только взмахни крыльями и полетишь навстречу рассвету, навстречу раскаленному солнцу и величественным вершинам...».

Каплецкий уже давно сидел рядом со своим командиром. Он прикрыл глаза и слушал о такой теперь далекой, казалось, совершенно нереальной мирной жизни с просыпающимся на восходе солнца городом...

Булкишев встал, застегнул гимнастерку, привычным жестом руки провел под ремнем, поправил портупею и пошел к землянкам посмотреть, как отдыхает его взвод.

Подул совсем не августовский холодный ветер. Он гудел в яблоневом саду, посветом врывается в ложину, как-то проникал в землянку и белесое пламя «коптилки», сделанной из зенитного снаряда, колебалось: то острим вытягивалось вверх, тогда плотный мрак вбирал в себя кучно сидевших саперов; пласталось, становилось широким, кренилось в бок, высвечивая лица сидящих. Саперы были увлечены гармоникой. Старая тульская трехрядка пострадала в бомбежке: срекошетив, немецкий осколок прошелся по меху. Хозяин ее, низкорослый замыкающий взвода тяжелый телом и рябой лицом, щуря желтоватые глаза, накладывал заплаты срезав биита, выпрошенным у санитаря Пети.

— И вона граты буде? — Спрашивал Иван Охрименко.

— Обязательно. — Уверял туляк, щедро улыбаясь во весь рот, довольный тем, что работа почти была сделана, и тем, что его спрашивают. Он любил вызывать к себе интерес. Пламя «коптилки» потянулось вверх. Попов запел. Это была песня о девушке. Она провожала на позицию бойца... Каратаев подхватил слова. Песня обрела силу, звала куда-то, обещала нежность и тепло. Туляк взял гармонию, потянул меха, внутри что-то зашипело, засвистело, охнуло. Он закрывал пальцами свинци, и только ему одному известным способом, выводил мелодию:

...Парня встретила славная,
Фронтовая семья....

Каратаев продолжал петь, карие глаза его были глубокими и печальными. В них таилась невысказанная боль от всего того, на что посмотрелся солдат за год тяжелой войны.

Булкишев вышел из землянки. Немцы бударажили ночь. Призрачный свет их ракет обнажал то полосу рябившей воды, то выхватывал крутую осыпь над оврагом, стайку тополей, несубранные, окаменевшие стебли кукурузы. Булкишев шел к себе и думал: «Я воюю более трехсот дней. За это время изменилась наша страна, изменились наши люди, изменился и я. Я стал воином, суровым человеком.

Моя молодость служит делу человечества. Быть может, мне и не удастся вернуть ее себе, но я верну ее моим младшим братьям, и они будут гордиться теми, кто сражался с врагом в эти воинственные годы».

Капленкий все еще не спал.

— Вы знаете? — сказал он вдруг Булкишеву — Я думал о вашем романе... Как он называется?

— «Алмаатинцы».

— Нам им, товарищ старший лейтенант, никогда не победить.

— Это верно.

* * *

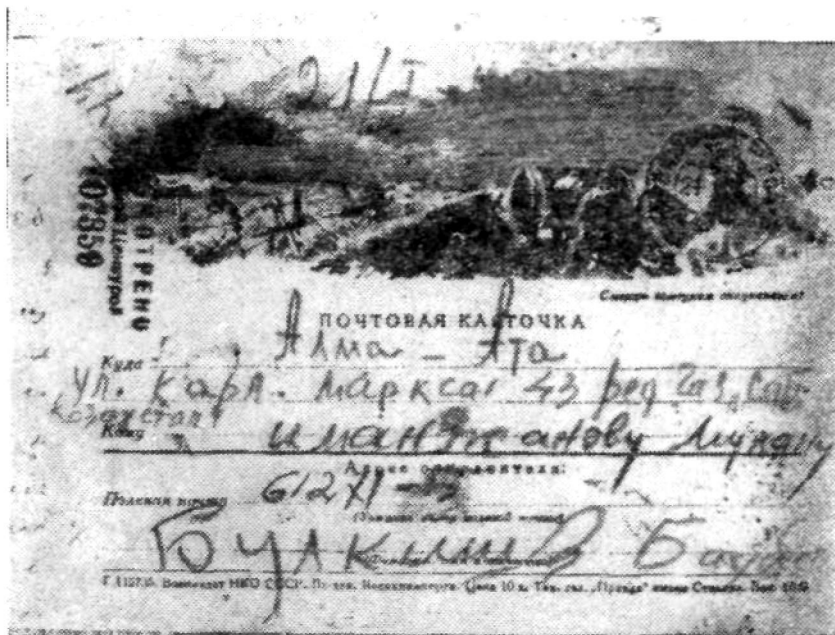
Домой она вернулась поздно. Задержалась после смены. Шла через притихший, занесенный снегом, темный город. Два месяца тому назад в цехе разобрали стены «бытовок» и там, где были душевые, поставили станки, эвакуированные вместе с людьми с запада в Алма-Ату. Алексей Михайлов принес кумачевое пологнище, на котором разведенным мелом было написано: «Наши гильзы — Сталинграду!» Михайлов вернулся с фронта. Воевал под Москвой, был ранен. В тыловом госпитале ему ампутировали правую руку. Заправив пустой рукав под широкий солдатский ремень выцветшей гимнастерки, на которой багрово поблескивал орден «Красной Звезды», секретарь заводского комитета комсомола организовывая «фронтовые вахты», сам учился токарному ремеслу.



3. Памятник воинам-дзезказганцам — участникам Великой Отечественной войны.



4. Ветераны войны и труда в дни памяти у братской могилы, где покоится прах Баубека Булкишева. Парк на центральной усадьбе колхоза имени Богдана Хмельницкого. Село Новоюльевка Софиевского района Днепропетровской области, —(личный архив автора).



5, Лицевая и обратная сторона военной почтовой кар-
тоявка, предсмертная открытка Баубека Булкишева, отпрап
генная с фронта 21 декабря 1941 года из района боевых ден-
СИЙ под Кривым Рогом на Украине в Алма-Ату другу
юшестя казахскому писателю Мукану Имаюканеву. — (лич
НБ архив автора).

Милые мои!



81

Милые мои, пишу тебе из Москвы. Я очень скучаю по тебе. Хотел бы увидеть тебя в Москве. Но пока не могу. Ты же знаешь, как тяжело сейчас. Как тебе будет в Москве. Как тебе будет в Москве. Как тебе будет в Москве.

Я очень люблю тебя. И надеюсь, что ты тоже любишь меня. И надеюсь, что ты тоже любишь меня. И надеюсь, что ты тоже любишь меня. И надеюсь, что ты тоже любишь меня. И надеюсь, что ты тоже любишь меня.



7. Село Сарлык, совхоз имени Амангельды, откормочная площадка комсомольско-молодежной овцеводческой бригады 1 меяи республиканской молодежной газеты «Лсшшпшл жас» («Ленинский путь»), по Актюбинском области корреспондентом, в которой был до призыва в Красную Армию Баубек Бул кишев.

Москва
знаю и в свое
время пишу
вот так пишу
друзьям своим
Копия пере-
дана друзьям
и семье моей
• 6 июля 1987
вместе с
опечаткой
экономике
СССР
Ирина Жукова,
подпись
«Правда»

8. Автограф Героя Социалистического Труда, писателя, политического обозревателя газеты «Правда» Юрия Александровича Жукова, сделанный для джезказганцев по просьбе автора в Москве 27 июля 1987 года.

(снимок публикуется впервые).



9. На родной земле Баубека Булқишева, в селе Сарлык, Улытауского района Дзезказганской области. Участники областного литературного объединения «Слиток» на сельском празднике, состоявшегося в 1980 году в честь 70-летия со дня рождения поэта. В центре Ермагамбет Баймагамбетов, ветеран Великой Отечественной войны, ровесник, товарищ детских игр Баубека Булқишева (фото автора публикуется впервые).

Станков разместилось мало, желающих было много, а потому составили график и каждый работал дополнительных три часа.

В комнате было холодно. Жанна достала из-под одеяла, еще утром разогретый чайник, с едва сохранившимся теплом. И из шкафчика взяла ломтик черного, пахнущего свекольной патокой хлеба, присела к столу. Бережно, боясь растерять самые мелкие крошки, она щипала тонкими, слабыми пальцами кусочки хлеба, ложила их в рот, почти не чувствуя вкуса, делала мелкие осторожные глотки воды и, почему-то думал о том, что рассказывал им на «перекуре» в цехе Михайлов.

«Сколько буду жить, — говорил он, подергивая правым, резко обрывающимся плечем, — столько буду помнить двадцать четвертую годовщину Великого Октября. Фашисты в тридцати километрах от Москвы. Геббельс объявил всему миру, что седьмого ноября состоится парад немецких войск на Красной площади, а наш конный эскадрон поздним вечером снимают с позиций и вместе с генералом Доватором отправляют в Москву. Удивительно нам всем было и не понятно: для чего?»

В город въехали на рассвете шестого ноября. Площадь Маяковского украшена знаменами, на улице Горького по ветру хлопают алые флаги. Все настороженно и тревожно, словно перед бурей. Людей не видно, но чувствуется: отдай команду и в миг Москву заполнят тысячи готовых сражаться за нашу столицу до конца, до самого своего последнего вздоха...

И вот утро седьмого ноября 1941 года. Очень ранний подъем. Войска заполнили улицы у Красной площади. Сама площадь занесена снегом, расчерчена темными, строгими квадратами воинских частей, построенных для парада.

Низкие, тяжелые облака. Падает густой снег, порывы ветра поднимают его, пуржат в лицо, холода не чувствуешь, счастлив и чувствуешь себя по-настоящему сильным. На Спасской башне Кремля куранты пробили восемь утра. За-

мерла трибуна. Из ворот Кремля на гнедом коне, как всегда высезжает Буденный. Он принимает рапорт от командующего парадом генерал-лейтенанта Артемьева. Вместе объезжают войска.

Приглушенно приветствуют. Не слыша себя, отвечаем. Слин говорит речь. И, слушая его, понимаешь: немцам никогда не бывать в Моксве, ни когда не победить нас...».

За окном гудит ветер, снег шуршит по стеклу, тусклый желтый свет фонаря пятнает комнату. Жанна кутается в одеяло, глаза смыкаются, но она не спит.

Гаснет свет. На сцене поднимается занавес и черный свет тельно затихшему залу бросает свой монолог:

Ну, видит бог, вся кровь во мне кипит
И ослепляет страстью! Горе, горе
Всем, на кого я руку подыму,
Хотя б защитник был родным мне братом!
Как ссора началась? Кто коновод?
Неслыхано! В военной обстановке,
Средь возбужденных жителей, самим
Завесь кровавый спор на карауле!
Чудовищно! Яго, говори,
Кто виноват?

Мавр смотрит на Жанну.

Ей страшно. Она протягивает руку, шьет его, зовет:
— Баубек, Баубек — И голоса своего не слышит. Кто-то
стоит у кровати, зовет ее:

— Жаннат, а Жаннат, да проснись же ты, Жаннат.
Жанна открывает глаза. Над ней склонилась тетушка Шолпан.

Шолпан-апай протягивает ей газету. Глаза ее еще тупые, еще непонимающе, бегут от самого заголовка:
«Комсомольская правда»...

— Дальше, дочка, дальше...

Вторая страница, третья... «Письмо молодого казаха-фронтовика».

«...Ты далеко от меня, Жанна, но твоя фотокарточка со мной в комсомольском билете, и твоя любовь согревает мое сердце. Спи спокойно, родная. Мы бережем здесь твой покой. Знаешь, Жаннат, умереть на войне не очень трудно. Но мы, солдаты родины, будем жить. Жить и убивать немцев! Я хочу жить. Но я не могу жить с немцами, с ними мне тесно в мире. Мы любим Шиллера и Гете, мы и сейчас любим их. Мы не кровожадны. Но я не вижу среди юношей Германии Вертера... Восток уже белеет. День с ночью спорит, наступает утро. Сейчас будет дан сигнал тревоги, и поднимутся мои друзья. Надо кончать письмо, идти в бой, чтобы выполнить свой долг. Досвидания. Жанна.
Баубек Булкишев. Действующая армия, полевая почтовая станция № 1531»

* * *

В Москве было еще тревожно и напряженно. Светомаскировка строго соблюдалась, за высокими заборами дыбились развалины домов, разбитые прошлыми бомбешками, многие здания занимали военные госпитали.

В Александровский сад у Кремлевской стены шум московских улиц не проникал. Здесь было немногочисленно, тихо и нежарко. Баубек любил сюда приходить в свободное от занятий время. Он садился на скамью и сочинял стихи:

...Жизнь человека - это к смерти путь.

Он всем нам неизбежно предназначен.

Страшна не только неизбежность смерти,

Сколь доля-жизнь промыкать как-нибудь.

Такой судьбы себе я не хочу:

За счастье жить - я жизнью заплачу.

— Ты это? —

Булкишев оторвался от записной книжки, поднял голову.

— Баубек.

— Так точно! — Булкишев встал, приложил руку к фуражке.

— Не узнаешь?

— У-у-знал. Умн! Балкашев!

— Давно из Алма - Аты?

— Давно, с самого сорокового.

— А в Москве?

— Недавно. Переучиваюсь... На курсах строевых командиров. А вы?

— В Главном политическом управлении армии, инспектором, Пойдем, Баубек, ко мне, посидим, чаю попьем... Ты расскажешь о себе...

Только сейчас Булкишев почувствовал время. Он посмотрел на часы.

— Поздно, Умит, пока доберусь до места... Скажите, товарищ подполковник, на правах земляка спрашиваю вас: почему в такое горячее время меня отправили из под Белгорода в Москву?

— Не обижайся, Баубек. Все правильно. Там ты свои задачи и политрука и сапера выполнил... Война Курском не кончится. Украина стонет под гитлеровским игом, кровь людей там льется рекой. Ты понимаешь, Баубек, сколько у нас еще впереди боев!

— Да, вы правы, товарищ подполковник!

Издали, с Красной площади — куранты Спасеской башни отбили очередную четверть часа и голос из репродуктора от Менежной площади сказал:

«От советского Информбюро... На отдельных участках Западного фронта небольшие группы нашей пехоты вели разведательные поиски.

Разведчиками уничтожено до двухсот солдат противника и захвачены пленные.

...5 августа наши войска после ожесточенных уличных боев овладели городом и железнодорожным узлом Орел».

— Ты слышишь, Умит, слышишь?!

— Орел взяли!

— Поздравляю, брат!

«...Северо-Западнее Орла наши войска за день боев заняли свыше тридцати населенных пунктов...».

В августе 1943 года, после контрнаступлений Воронежского и Степного фронтов, директивами Генерального штаба Красной Армии было намечено развернуть наступление на всех фронтах восточного и юго-восточного направлений для того, чтобы выйти в восточные районы Беларуссии и на Днепр, где и захватить плацдарм для обеспечения операции по освобождению Правобережной Украины. На очередном совещании в ставке Верховного Главнокомандующего, Сталин дал указание: «...использовать все возможности для быстрого захвата Днепра и реки Молочной, для того, чтобы противник не успел превратить Донбасс и Левобережную Украину в пустыню». Фашисты, отступая, в звериной злобе сжигали и разрушали все ценное. Они взрывали заводы, превращали в руины города и села. Гибли тысячи детей, женщин, стариков. Из разведанных в ставке было известно, что в штаб группы армий «ЮГ» приезжал Гитлер. Он предъявил категорическое требование своим войскам — биться за Днепр до последнего человека и любой ценой удержать его. Надрываясь, — свидетельствовало разведдонесение, — повизгивая в экстазе от полноты власти, фюрер доказывал:

— Это их, русских, фатальная ошибка — представлять себе, что Германия на Восточном фронте уже не сможет провести ни одного великого наступления. Ложь! Тот, кто верит этой лжи — предатель! Сохраните для меня Кривой Рог и мы за все возьмем реваш — и за Волгу, и за Курск. От обороны перейдем в наступление.

...Перед отправкой на фронт Булкишев зашел в редакцию «Комсомольской правды». Поднялся на шестой этаж. Начальник отдела фронта газеты Юрий Жуков был на месте. Он только что вернулся из Белгорода, стремительно освобожденного нашими войсками, и теперь смотрел на стоявшего перед ним высокого старшего лейтенанта. У гостя было смуглое лицо, большие, широко открытые карие глаза. Они светились добротой и живой мыслью.

— Вст вы какой, Баубек! Я вас сразу узнал и, признаюсь, представлял таким. Садитесь же. Почему вы стоите?

Жуков вспомнил, как в апреле сорок второго года от Булкишева в отдел фронта пришло, свернутое обычным солдатским треугольником, первое письмо названное автором «О жизни и смерти». Редакция дала ему подзаголовок «Записки молодого казаха-фронтовика» и опубликовала.

Жуков смотрел на Булкишева. Баубек улыбался очень довольный состоявшейся встрече.

— Как вы там писали? Точно, слово в слово засело в памяти: «На Востоке говорят: «Человек всегда был вечным гостем у жизни, погостит недолго — и уходит. Но человек в мир не просто приходит и уходит: он оставляет своему приемнику духовное наследство. Пусть человек живет по-человечески. Во имя этого мы боремся, во имя этого мы не щадим жизнь. Во имя жизни мы призираем смерть».

— Спасибо, Юрий Александрович.

— Садитесь же, Баубек.

Булкишев присел на краешек стула, сказал, вняв себя:

— Я ничего с собой не принес, Юрий Александрович, но пишу, размышляя над старой картой. В этой военной карте все, что произошло со мной, с моими товарищами от того самого сорок первого июня на Березене до вот этого сорок третьего, когда отправили из под Курска сюда в Москву: города, деревни, села, мосты, дороги, люди, их письма, ответы на мои статьи в «Комсомольской правде».

— Ваши письма, Баубек, очень нужны и на фронте, и в тылу. В строчках ваших статей — огромная сила, скажем, такая же, как в патронах: зажатых обоймой. Слова, согласитесь, имеют убийную силу, они разят врага, как пули.

— В моих раздумьях над старой военной картой все сводится к тому, что с такими людьми как наши, нельзя не победить. Знаете, бывало, увлекусь в бою и начну, не замечая сам, отдавать приказы на казахском языке. Точно выполняют бойцы мои приказы. А ведь языка казахского не знают. Сердцем понимают. Думы и цель у всех нас, одна — победить.

— Там, куда вы едите началось полное уничтожение германского фашизма. Теперь им не устоять ни при каких своих потугах. Потерпело провал июльское наступление на Обоянь. Ушли в прошлое те страшные времена, когда самолеты Ге-

...иногда безраздельно властвовали в небе. Освобождены Белгород, Харьков.

Харьков — это уже украинская земля.

П — Особенно тяжелые мыслями я получаю письма от украинских девушек. Мне писала на фронт украинка Евдокия Мухоморова, что была бы счастлива, если бы ей разрешили пойти на фронт. Девушка пишет, что ей нужен автомат, чтобы убивать. Это — люта я ненависть, Юрий Александрович. Ненависть, вызванная в человеческой, в женской душе зверствами гитлеровцев.

Но сама душа не сожжена. В этом наше счастье, наше будущее.

Жуков встал. Подошел к окну. Он смотрел на низкие, тучные тучи, ползущие над городом.

В Белгороде гвардейцы из полка Прошункина любовным трудом вдоль узкой полоски железной дороги, где справа и слева расстилаются топкие болота, ворвались на станцию...

Вам приходилось, Баубек, до войны проехать станцию Белгород? Чистенький, аккуратный был вокзал... Пятого августа я его видел мертвым. Трещит под ногами битое стекло, лежат на перроне еще не убранные трупы. Среди скрученных шпалами рельсы сияют свежие воронки. За вокзалом горят вагоны... И сквозь дым и гарь доносится медовый аромат липы, целебнейшей в этом страшном военном аду... Душу человеческую фашизм испепелить не смог.

Жуков перестал ходить по кабинету. Остановился у стола. Посмотрел на Булкишева.

— Да-да... Помните, силы Красной Армии неизмеримо возросли, наступательный дух наших солдат сейчас очень высок. Вы будете на острие событий наступающих войск...

Защитите нам и берегите себя, Баубек.

* * *

Ветер обножил березы, срывал последний желтый лист с них. Подмосковные леса откатывались темными, хмурыми

елями — поезд шел с севера на юг. Впереди были освобожденные города и села Украины.

Встал перед глазами Булкишева немец, с которым встретился в августе сорок второго на перерытом окопами гречишном поле. Смерд боя так и не смог заглушить медовый аромат цветов. *В знойном безветрии запах был устойчив. Пчела кружила над одинако цветущем стеблем гречи, желая и, не решаясь, коснуться цветка хоботком.*

Пчелу прогнал рев. С противоположной стороны в очередную атаку бежала длинноногая, в касках и черных гимнастерках с засученными рукавами, со «шмайссерами» на перевезях — орущая толпа.

Свисток взводного вышвырнул Баубека из траншеи. Он увидел смотрящие прямо на него желтые, лихорадочно блестящие глаза. Немец был совсем молодой, с мягким рыжим пушком на верхней губе, с искривленным от злобы ртом. «На что так зол этот чужой мальчишка?!» Ответа тогда Булкишев найти не успел. Они сближались. Между ними оставался шаг, клочек истерзанного поля с вытоптаннными стеблями.

Баубек выстрелил первым. Немец все еще смотрел на него долгим тусклым взглядом. Автомат ему уже не подчинялся. Руки дрожали. Пальцы сводила судорога. Немец, захлебываясь, глотал горький воздух перекошенным ртом.

...В вагоне шумно. В центре внимания—санинструктор Даша. После выздоровления в московском госпитале она возвращалась в свою часть. Тонкая, с совсем еще детскими алыми губами и золотистой челкой, Даша философски отвечала улыбчевому сержанту:

— На весь период войны оставила класс фортепиано для раниеных. В Москве не выдержала, зашла в консерваторию: тихо, уютно, будто и нет никакой войны.

— А дома были? — спросил молодой лейтенант-танкист с пятнами ожогов на лице.

Она не ответила.

...Когда атака захлебнулась и смерть погнала бойцов вниз по заросшему цепким кустарникам склону, она божала вместе со всеми к ложбине. До наших окопов оставалось меньше полусотни метров. Перед ней, переломившись рухнул солдат. Он истошно по-заячьи закричал. Даша замерла, глянула назад, на отступающих своих бойцов и, поползла туда, к раненому.

— Стой! Назад! — неистово звал, загораживая собой путь к отступлению поредевшей роте, взводный. Трое, а может быть пятеро, оказавшихся возле него бойцов остановились. Остальные продолжали катиться вниз.

— За мной! — Заменявший убитого командира роты, взводный бросился навстречу немцам. Перед ним, заслоняя его собой, появился широкоплечий сержант. Скуластое, смуглое лицо, хищный оскал зубов, узкие точные глаза. Короткими очередями он строчил из автомата. Бегущие на него немцы спотыкались, падали, пытались подняться. Он не позволял им этого сделать, втягивая все большее их число в свой сектор обстрела. Контратака немцев захлебнулась. Раненую Дашу и ее подопечного вынесли из поля боя. Солдат скончался по дороге в госпиталь, ее довели а потом и выходили.

...Только сейчас до нее дошел вопрос танкиста. И она ответила :

— Дом далеко, — в Сибире, на Енисее. Я там с сорокового года не была, как уехала в Москву учиться, так вот и все. Мама писала, что отец и брат в один день на фронт ушли. Из под Сталинграда присылали ей письма. Она жалуется, что ей теперь с хозяйством трудно управляться, что никого из нас не дождется, помрет.

— Значит долго жить будет.

— Булкишев застенчиво улыбнулся Даше:

Думы мой, думы.

Лыхо мени з вами!

Нашо стали на поперн

Сумными рядками?

Даша только теперь рассмотрела старшего старшего лейтенанта. Она сказала:

— Ничего не знаю мелодичней украинской поэзии: или вся она собралась в стихах Шевченко, или Тарас Григорьевич всю ее собрал в свой «Кобзарь».

— Вы не знаете казахских стихов, в них несказуемая нежность и бесконечная печаль, как в молодой луне, в бескрайней степной дороге...

— Так вы украинец или казах? — спросила Даша.

— Казах.

— Тогда все правильно.

— Что правильно?

— Мы с вами встречались, товарищ старший лейтенант...

— Нет, не помню, но, если это было так, мне очень приятно. Вы такая милая, и совсем не для войны.

— А кто для войны?

— Понимаете, я не это имел в виду.

Лицо Булкишева зарделось, на правой щеке вспыхнула ямочка. По привычке он быстро прикрыл щеку широкой ладонью. Поезд торопливо рассекал ранние осенние сумерки высветенные блеклым уходящим солнцем.

Даша продолжала смотреть на Булкишева, все пытаясь вспомнить, где же и при каких обстоятельствах они встречались. И снова в ее сознание наплывал сухой склон горы заросший цепким кустарником, бегущие вниз остатки их роты, истошный крик солдата и наперекор немцам вставший с автоматом в руках скуластый, со смуглым лицом сержант. Чем-то очень важным она обязана этому строго подтянутому, серьезному старшему лейтенанту, так странно умеющему смущаться.

Булкишев сказал:

— Недавно в бою я видел, как умер молодой поэт. Перед смертью он вспомнил, как погиб Байрон, и отдал мне свою

записную книжку, чтобы я отнес ее в редакцию. Умирая, он надеялся, что его стихи переживут его.

— И что же? — спросил танкист.

— Я выполнил его завещание и в Москве занес его записную книжку в издательство.

— О чем он писал?

— О войне и любви.

— Я вспомнила вас, — сказала Даша. — Точно. Это было весной сорок второго года на Брянском фронте, юго-восточнее Курска, между Казельским и Ржавыми на высоте 116,7. Тогда вы еще были в звании сержанта. А потом? Что было потом... С вами, товарищ старший лейтенант?

— Многое, очень многое, будто не полтора года прошло, а по меньшей мере — десять лет... А именно там, на высоте 116,7... Подошло подкрепление. Немцы еще несколько раз бросались в атаку. Мы отбивали их в круговую. В одном окопе со мной оказался мой ровесник, курский паренек. Его звали Сережа. На исходе дня его ранило. Я отнес его в госпиталь. Наши дороги разошлись и я больше его не видел. А вы — Даша! — Наконец узнал ее Булкишев.

Она рассмеялась, уткнула лицо в ладони. Совсем по-детски она рстерла слезы по щекам и моргала ресницами, веки в миг набухли и покраснели.

— Ну, зачем же так, Дашенька! Все давно позади и растреваться совсем не к чему.

— Да, конечно. Вы совершенно правы, — соглашалась она, успокаиваясь. За окном вагона вдаль убегала перерытая воронками земля, сгоревшие с обрушенными стенами дома, сиротливо торчащие трубы белых печей.

— Куда вы теперь, Даша? —

— Теперь мы все туда, к Диспу.

* * *

Январь сорок четвертого года в Заднепровье был теплым, сырой ветер нес оттепели. Рваные низкие тучи моросили дождем. Чернозем раскисал. Воздух прогорк от пожарниц. Трестя девяносто четвертая стрелковая дивизия, оставляя свои

госпитали, чаще всего по бездорожью шла на Кривой Рог. Ее полком предстояло преодолеть хорошо укрепленную оборону противника и взять город. Восемьсот десятый стрелковый полк находился в самом центре маневра. По данным разведки теперь саперы часто уходили в короткие, стремительные рейды по тылам врага, совершали диверсии. Чаще всего, на обратном пути, их обнаруживали немцы. Выручал обычно группу пожилой старшина Василь Яковлевич Петренко, которого все во взводе за природную сметку и житейскую мудрость называли просто «Батько». Он прибыл во взвод уже здесь, на Украине, со вторым пополнением. Взятый «язык» в чине обер-лейтенанта сказал, что на участке перед Червоным Яром готовится контрнаступление.

Было решено упредить замыслы врага, экономя свои силы. Задание поручили взводу старшего лейтенанта Булкишева.

К мосту пошли группой, сгибаясь под тяжестью ноши. Впереди, не по возрасту легко и уверенно, — «Батько».

— По двое, по трою, разойтись по местам! — командует он. Люди волокут за собой по мерзлой, звенящей земле квадратные ящики.

— Приступай!

И начинается разрушительная работа: снимают часовых и поднимаются на мост, карабкаются под ним, взбираются по толстым быкам... Что-то ищут, приспособливают, прикрепляют, рубят, стучат, привязывают... Заминировав, затаились, ждут подхода вражеских танков.

Проходит стылая ночь, наступет серое, туманное утро, а с ним грохот артиллерийской канонады. К полудню туман рассеялся, выглянуло солнце. С их так успешно занятой высоты просматривается весь участок фронта: пленный обер-лейтенант не соврал. Немецкие самолета кружатся, просматривают цели, делают первый заход, пикируют, в глубину обороны, бомбят наши позиции. Неожиданно наступает затишье. И вдруг на позицию саперов обрушивается беглый огонь крупно-калиберного артиллерийского дивизиона. Обнаружили. Булкишев в упор смотрит на старшину, спрашивает совета. Петренко собран, подтянут, весь вид его говорит о том,

что он и не сомневался в состоявшейся ситуации.

Кругом все воет, гроыхает, ввысь поднимаются десятки гигантских черно-огненных столбов.

Вздыбленная земля оседает, пламя гаснет и над искорверканной ложиной снова светит солнце.

— Живы? — орет «Батько».

— Редкие голоса отвечают ему и гаснут, ожидая команды. Со скрежетом, рокоча, поползли танки.

— Приготовить запалы, проверить шнуры! — не замедлил Булкишев.

— Есть проверить, товарищ старший лейтенант.

— Следить за мной!

Головной танк подошел к мосту, остановился, поворочал пушкой, три раза выплюнул огненную струю, потрещал пулеметом, затих, подождал, и пополз по мосту, набирая скорость. За ним устремились еще три машины.

— Вперед! — кричит Булкишев.

Саперы бегут под мост. Танки сбавили скорость, ползут медленно, осторожно. Головой почти на краю моста, сейчас он выйдет на шоссе и там его уже ничем не остановишь. Старший лейтенант опережает экипаж на полминуты. Булкишев поднимается из окопа. Он считает мгновения. Лицо его вытянутое, серое, перепачканное грязью, в глазах злость, губы сжаты до синевы. Он резко опускает поднятую правую руку. На исходе последней секунды мир сжигает ослепительный свет, огромные серые клубы дыма распирают ложину, мост падает. Над землей вздыбилась гора смрада. Темные ядовитые облака погасили солнце, заволокли пространство, казалось бы задушили и все живое, что было окрест. Перед мостом в кюветах валяются, задрав вверх колеса, мотоциклы, уткнувшись лицом в землю лежат трупы в машино-серых шинелях. Где-то глубоко, внизу груды изувеченной стали раздавила, похоронив израненных танкистов.

— Добре, — говорит «Батько», — оглядывается кругом, отдает команду «Собраться» и докладывает командиру, что задание выполнено.

Далеко-далеко, в низине под прикрытием наших танков пошла брать Червоный Яр пехота. Теперь немцы не скоро придут в себя. Время полк выиграл. Он идет в наступление. У саперов своя дорога. Они пробираются по тылам противника навстречу атакующему полку. Идут вокруг по степи, через посадки и балки. Когда подошли к шоссе по нему мчались немецкие машины. Враг передислоцировался.

— Подтянуться! Живо! — распорядился старший лейтенант. Подошли вплотную к дороге, залегли у самого кювета. Показалась вторая мотоколонна. В кузовах машины сидела пехота.

— Водителей оставить. По кузовам! Огонь! Шоферы ошеломленные неожиданным обстрелом прибавили скорость. — грузовики промчались, увозя своих убитых и раненных.

И все-таки кто-то не рассчитал, пуля повала в водителя последней машины. Грузовик замер. Солдаты прыгнули на шоссе. Залегли и открыли огонь.

— Вперед!

В коротком броске саперы смяли заслон и пересекли шоссе, углубившись в нейтральную полосу. За ней расположились позиции восьмого десятого полка.

— Ведите, Василь Яковлевич.

— Есть, товарищ старший лейтенант.

Впереди шел старшина, командир взвода замыкал движение. Булкишев учел, что Петренко старый опытный солдат, житель здешних мест лучше его ориентируется на местности, а си, в случае, если, немцы, обнаружив их и начнут преследовать, обеспечит контратаку...

Наступили тягостные дни обороны. Даша обещала писать, но писем ни от нее, ни с Алма-Аты не было. Булкишев подумал, что наступило то самое время: когда можно выполнить наказ Жукова и принялся писать в «Комсомольскую правду». Булкишев решил, что сразу даст ответ на все письма, которые написали ему украинские девушки и, на которые целый год ответить он не имел никакой возможности. Булкишев так и начал:

«Дорогая, украинка!

Еще с прошлого года в моем фронтовом блокноте сохранились строки из твоего письма. Ты это письмо написала из глубокого тыла из Казахстана. Ты находилась на моей родине. Назвала меня родным, просила, чтобы я героически сражался с немцами, освободил твою Украину. Ты гордилась, украинка, ты писала: моя любовь с тобой, родной боец: и писала еще о своей любви к Украине, ты училась в Киеве, хотела стать инженером и затоптана твоя мечта войной. Горя много. Я вижу его, продвигаясь на Запад, теперь вот по украинской земле. Сколько хороших девушек бандиты увезли в Германию. Нет на Украине семьи, из которой не увезены на каторгу сын или дочь. Вот что пишет твоя сверстница из фашистского Брамшвейга в колхоз «Богдановка» Днепропетровской области своей матери Евдокии Рыжой:

«Дорогая мамочка работаю на заводе по четырнадцать часов. Кормят два раза в день помойкой, которую у нас свинья не кушала бы. В день 150 грамм хлеба дают. И то не всегда получаем. Живем в лагере, огороженном проволокой. За ограждение не пускают. От холода и тяжелой работы у меня кружится голова. Дорогая мамочка, сколько детей ты не воспитала, но среди них я самая несчастливая. Дорогая мамочка, пришли косыночку, какую-нибудь. Мамочка, от слез не могу больше писать. До свидания. Твоя дочь Нюра».

Украинка! Я сижу в тесной землянке за Червоным Яром — это селение недалеко от Кривого Рога. Мы в течение 4-х месяцев гоним немцев. Мы форсировали Северный Донец и Днепр. Мы прошли большой, нелегкий путь, возвратили Родине сотни селений, десятки городов, огромную площадь украинской земли.

В нашем полку сражаются с немцами люди из Азии, из Сибири, с Урала. Они все, как один, со всех концов Союза, вступили на путь за освобождение Украины.

Немец удирает, немец бежит, ему Украина перестала быть вкусной... Она стала им могилой.

За отличное вождение полка от Северного Донца, вот сюда к Кривому Рогу нашего любимого командира подполковника Титова Родина наградила орденом Александра Невского. Орден великого полковника вдохновляет всех нас»*

Подполковник Титов собрал командиров подразделений.

— В Новоюльевке немцы. Их надо оттуда выбить. Держаться за село они особенно не будут, никакого стратегического значения эта местность не имеет — низина. В трех километрах от Новоюльевки, Авдотьевка — на высотах. Ее и будем брать. От Авдотьевки до Кривого Рога немцу держаться не за что — покатится. Дальше пойдем через Ингулец на Южный Буг, а там — граница. Так что миссия у нас освободительная, товарищи командиры.

— Все ясно, товарищ подполковник.

— Тогда по батальонам, ротам и взводам.

* * *

В комнатах были жарко натоплены печи. Начальник софиевской полиции снял китель, растегнул ворот рубахи, поднял трубку.

Телефон молчал. Он застучал по рычагу, подул в микрофон.

— Бисовы диты! Байструки! Опять провода пообрывали. Совершенно прав герр комендант Гофман: такой народ можно научить только новым немецким порядкам.

Альберт Гофман в первую мировую войну «добровольно пошел сражаться с русским царем за Кайзера и Германию». Он был молодым рассудительным солдатом, унаследовав практический ум своего отца-бауэра: бесприкословно выполнял приказы старшего по званию, любить командиров, и, прячась в атаках за спины других, лоб пулям не подставлял. Гофман дослужился до ефрейторского звания и стал ветера-

* Это последнее письмо молодого казаха-фронтовика Баубека Булкишева было написано по-русски и отослано в «Комсомольскую правду» из действующей Армии, полевая почта 2127 1-Б — 21 декабря 1943 года, хранилось в фонде центрального архива ВЛКСМ. Впервые статья опубликована в казахстанской республиканской молодежной газете «Ленинская смена» 3 ноября 1976 года, спустя тридцать три года.

ном своего пехотного полка. Ему нравились яркие, чинные строгие гитлеровские митинги. Людское море фанатиков приливами и отливами качало его на волнах самолюбивых страстей. Там он был завсегдаем, долго смотрел, выкатив глаза, приоткрыв рот, на ораторов, громко кричал: «Хайль Гитлер!», «Мы победим!» «Райх! Райх! Райх!» Альберт от восторга пьянел больше чем от баварского пива, чувствуя всем телом крепость «духа нового времени». И во имя этого времени сам стал маршировать по улицам под восторженный рев окружающей их колонны толпы. Гофмана заметил местный офицер, и хотя у активиста образования не было, предложил ему должность в фашистской организации. Эсэсовские протекции быстро повышали в званиях и должностях. Альберт старался в Гамбурге. У него созрел отменно отработанный нюх на рабочие сходки и явочные квартиры, чаще всего приходилось прибегать к жестокостям и преступлениям. В звании гауптмана он командовал подразделениями в Западных районах Рейха, Польше, Франции, Чехословакии, мечтая о большой карьере и встречах с политиками из нацистской партии. Встречь этих так и не было, зато в декабре сорок первого года состоялось новое назначение: на Украину. Здесь он сам себя по-настоящему почувствовал бауэром, занимал стойкие привычки, любить своих и чужих женщин, носить моноколь, быть спесивым, скакать на лошади по полям, уважительно называть Гитлера — Адальф и Гиммлера — Генрих.

...В чине майора герр Альберт Гофман стал военным комендантом Софиевского района и про себя решил, что после войны здесь и осядит. Ему нравился этот край: украинские душевные песни, полногрудные, розовошечки, крепкие девушки, выносливые, исполнительные работники. Иногда откровенность захлестывала господина-майора и он, позвав к себе «на рюмку шнапса» старательного, как и он сам, русского начальника полиции из фольксдойче говорил ему:

«Здесь у вас на Украине — чудо! Земля родит сама, так что никаких забот не надо. Я по крови ведь не военный, не полицейский, а земледелец, крестьянин».

Начальник софиевской полиции одобрительно кивал головой: «Гут, гут, герр Гофман». Комендант, сверкнув стеклышком монокля, самодовольно улыбался, поводил кустистой черной бровью, указывая на бутылку шнапса: «тринкен, битте, тринкен» и продолжал мечтать:

«После победы в прелестный и тихий летний вечер в моей усадьбе украинские лакеи, воспитанные на европейский манер, будут в саду сервировать стол для ужина. Фарфор, столовое серебро, хрусталь, свечи — зеер эlegant! И майн фрау унд майн зон... Как это? Все вместе... И кони, великоленные украинские кони...

Почему вы не пьете? Тринкен, битте...»

Начальник полиции не смел фомильярничать. Альберт превзошел себя, он сам налил в рюмку настоящий немецкий шнапс, отдающий самогонным первачем.

«Поляки, скандинавы, русские, украинцы так любят пить водку. А почему бы украинцам не дать в волю водки? Разве они ее не заслужили?! Не сейчас, конечно, а после победы, когда мы установим свой абсолютный порядок. Пусть пьют и работают, работают и пьют высокоградусную водку, которая будет стоить гроши. Мой дорогой, это величайшая стратегия Адольфа Гитлера и Генриха Гимmlера. Рейхсфюрер СС привез эту идею отсюда же, когда находится в командировке между Днестром и Бугом. Я знаю. Крепкая, дальновидная политика одобрена фюрером: в течении двух-трех поколений, спсив, доведем украинцев до деградации. Что им останется? Послушно работать».

... — Эй, кто там за дверью?!

Сначала просунулась лохматая голова с круглым веснушатым лицом и большими оттопыренными ушами, потом неуклюже ввалился высокий парень.

— Ты откуда такой?

— Прямо с хаты на пост, пан начальник.

— Ладно. Собири народ и марш на линию, провод порван.

— Где же народ собрать, пан начальник? Немцы всех погнали окопы рыть...

— Что же дальше будет?

— Не могу знать, пан начальник.

— Болван.

— Так точно, пан начальник.

— Что?

— Немцы говорят построят оборону, остановят русских, а потом опять погонят их к Москве.

— Ладно врать. Скачи в Новоюльевку и передай старосте приказ военного коменданта герра Гофмана: всех хлопцев и девчат от тринадцати до семнадцати собрать и колонной сопроводить на станцию Дивладово для отправки в Германию. Короткий осенний день гас. Старательно заматывая горло шарфом, начальник полиции стоял у окна, смотрел на голые ветки высаженных еще до войны яблонь. Палый лист запылил пожухлую траву. Мысли его одолевали скверные: если немцы не смогли удержать Днепр, то какая оборона поможет им здесь, на ровном месте в степи. Видать и впрямь сильна Советская власть, раз такую силу одолела от самой Москвы. Как покатилося все с семнадцатого года, так и катится в завихрени двадцать шесть лет... Когда снова придут сюда Советы, больше не помилуют, так что уходить придется с герром Гофманом, дай бог ему здоровья. Нет, не будет у майора Альберта здесь поместия, ни украинских лакеев, ни украинских коней...

Он вышел на крыльцо. Часовой вытянулся, козырнул. Зябко и тихо было в Софиевке. Начался комендантский час. В стеклах домов сумеречная наволожь, калитки залерты. Начальник полиции лично проверял немецкий порядок на отданном ему оккупантами земле, и чем дальше шел тем уверенней чувствовал в себе силу хозяина и земли, и людей, загнанных в свси дома за огады.

Сначала он не поверил своим глазам. Впереди мелькнула невысокая фигурка.

— Во байструк. Стой!

От неожиданности мальчишка замер. Посмотрел на окликнувшего, узнал его и побежал.

— Стой! Стрелять буду! — Начальник полиции потянулся к кабуре. Беглец замер. Худенький, с испуганными глазами, опустив голову, он пошел к звавшему его.

— Трохи затримався, на рыбалку збыралась на завтра під дождь.

— Ладно врать!

Тяжелой пятерней сгреб начальник полиции мальчишку за шиворот и поволок. У крыльца часовой козырнул, уступая дорогу своему начальнику и его пленнику.

— Ты бандитский связной, — кричал он, запершись с мальчишкой в комнате. Начальник полиции хлестал нагайкой по беспомощной, вздрагивающей спине.

— К кому ты шел, байструк? Кто режет провода связи?

Мальчишка плашня лежал на широкой скамье, не чувствуя больше ударов, не понимая, что требуют от него.

Не впервой поборы людьми брали с Новоюльевки оккупанты. Строптивное село раздражало и военную комендатуру, и полицейское управление. В Новоюльевке так могли зарыть хлеб, что и собакам не сыщешь. Кто-то, минуя охрану пересыльного пункта военнопленных, передавал за колючую проволоку торбы с едой. Когда надо было на работу йдти, всем миром маялись животами, а с хворого какой работник.

Перед каждым сбором молодежи мать отпиривляла Ивана на сгород. За сараем выкопали щель. Туда он и садился. Сверху насыпали кучу прелой соломы. В убежище было душно, пахло сырой землей и гнилью, но он терпел до тех пор, пока за ним не приходила мать.

На этот раз полицейский и староста появились совсем неожиданно.

— Эй, Яловчиха, давай своего Ивана, хватит дурочку корчить... Приказ герра Гофмана. Давай!

— Заболел сын, помилосердствуйте.

— В Германии врачи свое дело крепко знают — вылечат. Так, чтобы завтра с утра был у конторы.

Со всех сел по округе парней и девчат набралось человек сто. Ивана Ялового вызвалась проводить до станции сестра.

— Провожай, — сказал староста, — помощницей мне будешь, и если что, ответ тебе держать.

Шли кучно, не торопясь, разговаривали. Староста не запрещал: лишь бы всех довести и сдать охране поезда.

— Ваня, — зашептала сестра, — беги, вон бачиш яр.

— А ты как?

— За меня не бойся.

— Боюсь.

— В Дойчланде еще страшней будет, помянешь мое слово, не люди они — звери, хуже зверей.

Она это точно знала, насмотревшись на бомбежки, пожары, наглых, похотливых завоевателей, став бежанкой от самой западной границы, добираясь в сорок первом сюда к матери и брату, в тогдашний тыл.

— Не-е, сам не пойду. — Окончательно решил Иван.

— Мне нельзя сейчас, кинутся сразу.

— Без Лямца — не пойду.

— Бери его.

— Коля, давай убежим.

Лямец, закадычный друг Ивана Ялового, оторопело стал.

— Да не останавливайтесь вы, — продолжала шептать Надя.

— Убежим? — переспросил Ваня.

— Родителей жалко — расстреляют.

— А вы в село и не показывайтесь, гденибудь определитесь, дождитесь наших, скоро уже придут. Днепропетровск взяли. Яр был глубокий, густо заросший. Яловой и Лямец поотстали и, вдруг, как сквозь земля провалились. Толпа сомкнулась, скрыв следы беглецов.

— Вот бы всем так, — сказала Надя идущей рядом с ней стройной черноглазой девушке.

— Всем нельзя, — рассудительно ответила Анна Сорухан, но я попробую у самой станции.

В Дивладово на первом пути стоял длинный состав теплушек. Один вагон был свободен. Вдоль эшелона нетерпеливо шагали часовые. Поезд ждал отправки.

* * *

Вечером ветер изменился, потянуло холодом. Пошел снег. Булкишев возвращался в расположение своего взвода. Снег густо повалил хлопьями. Горизонт закрылся. Из белой колумути вынырнула зыбкая фигурка мальчика. Он был худ, в драной коцевейке, перетянутой размочаленной веревкой. На узком личике с впалыми щеками лихорадочно блестели синие глаза простуженного, много пережившего голодного человека. Булкишев чуть не сшиб его поначалу, не заметив в разыгравшейся было метели, ухватив за плечики спросил:

— Ты откуда такой?

— От пемцев.

— Есть хочешь?

— Д-д-да.

Пойдем я покормлю тебя.

— Потом, товарищ командир.

— Почему потом?

— Отведите меня в штаб, я расскажу, где немцы заложили мины.

— Мины? — Переспросил Булкишев.

— Друг мой Лямец Колька в село пошел за хлебом. А я остался наблюдать. Он так и не вернулся, а я вот получается фронт перешел.

— Значит немцы будут крепко сопротивляться... Но мы помещаем им, правда, малыш?

— Я с вами, товарищ командир.

— Да, пойдем.

Утром снегопад кончился. Небо прояснилось. Земля была чистой, свежей и терпко пахло вешней водой. Булкишев не отказал добровольцам. Вместе с рядовым Каплецким и сержантом Каратановым пошел на минное поле. Сначала немеченные, а потом, и под огнем противника саперы обезвредили триста мин. Пули снайперов их миновали. Они прошли поле, сделали широкий проход и, уже повернули назад, к своим.

Вспышка из-под земли ослепила всех троих сразу, грохота взрыва они услышать не смогли... Фугас был тяжелым.

Через двадцать дней был взят Кривой Рог.

Криворожский металлургический завод лежал бесформенной глыбой развалин. Социалистический городок горел. Грязные, в лохмотьях, изнеможенные люди выходили из щелей, погребов и подвалов. Они столбенели при виде всего их окружающего, в глазах был ужас. И только одно вновь заставляло этих людей двигаться, говорить, хотеть пить и есть: в городе уже не было немцев, тридцать месяцев фашистской оккупации кончились.

* * *

На запад от Днепра, к Кривому Рогу, среди поросших зеленью яров, за Софиевской, у Хортецкой запруды, в степной посадке не сумеречная бурая птица сыч надрывно плачет, то стонут камни на хуторе Высоком. Хутора нет. Его стерла с лица земли война. Семь раз Высокий переходил из рук в руки, сплошным морем огня пылали танковые армады, а когда побоище кончилось — и смрад осел, стало видно, что от всего хутора остались два угла одной хаты, да колодец. Говорят, что с сожженной земли из-за притихшего танка с белым крестом на броне, поднялся красноармеец. Был он плечист, скуласт, с воспаленными глазами, смотревшими изпод опухших век. Красноармеец снял каску, вытер пот со лба холстиной, подошел к колодцу, опустил журавль и поднял в ведре родниковой воды. То была живая вода родной земли. Он долго пил. Вода прибавляла ему силы.

Красноармеец посмотрел окрест, растер по шершавой щеке непрошенную скупую слезу и сказал: «Простите, братья, оставляю вас сырой земле и людям для трезны. Мне идти дальше, на запад. Спите, братья, спокойно, вечная вам память».

Бетонные глыбы надгробной тянутся высоко, к самому небу, монолитные, молчаливые, грозные, предостерегающие. В них память людская: «...С ноября 1943 года по февраль 1944 года здесь вели ожесточенные бои войны соединений действующей армии Третьего Украинского фронта... Вы имели полное право пользоваться всем, что даст человеку жизнь, но в трудный час исторической проверки жизнеспособности народа вы выбрали самую трудную часть этого права — смерть ради

жизни и за это вам безмерное уважение потомков». На другом берегу Хортецкой запруды, между двух высоких тополей, темневших на косогоре, выкатился медный шар солнца. Постоял, осветил и скрылся. В гладкую воду упали розовые облака. Солнце поднялось выше, залило теплым сиянием высокохуторские надгробья, самоцветами заиграло на утренней росе, окропившей каменные плиты, бронзовые барельефы, лепестки пунцовых роз. И казалось в том торжественном безмолвии только что родившегося дня, ожили капли крови воинов-братьев, сгоревших в пламени боя, всех названных на памятных досках могильного кургана и безымянных.

* * *

Все в ту весну было особое. Днем ласково и по доброму грело солнце, поздними вечерами московское небо озаряли победные салюты. В редакции газеты «Комсомольская правда» и фронтовые корреспонденты, и сотрудники еще жили в служебных комнатах, работали ночами. Алексей Брагин* вернулся из очередной командировки, был в Чертаново, подмосковском колхозе, написал о трактористе Маше Белоусовой, работавшей по-фронтовому. Очерк получился большой, лирический. Юрий Александрович Жуков, читал его, иронически поглядывая на Брагина, безжалостно вычеркивал пейзажные красоты:

— Место надо экономить, место в газете... Война и люди ждут вестей с фронта, с передовой.

Неожиданно отложил листы, помрачнел, но через минуту улыбнулся и стал стремительно писать:

«Уважаемый тов. Булкишев!

Мы снова получили на Ваше имя письмо, пересылаем его Вам. Вы видите, сколько горячих патриотических откликов вызвала Ваша статья. Ее с увлечением читают Ваши друзья комсомольцы Советского Союза, и мы очень рады, что она имеет такой большой успех, которого она несомненно стоит. Привет и лучшие пожелания.

Зав. отделом фронта «Комсомольской правды» Ю. Жуков»

* Казахстанский писатель, в годы Великой Отечественной войны, корреспондент «Комсомольская правда».

* * *

Все чаще задумывался о Булкишеве друг его юности писатель Мукан Иманжанов. Последняя открытка пришла с фронта в начале февраля.

Май в Алма-Ате тогда буйствовал цветением яблоневых садов пряным ароматом, заглушая военные тревоги. Баубек писал: «...пули пока минуют меня. Возможно, моя судьба так и сложится, что останусь живым...».

Мукан успокаивал себя: «В наступлении писать, конечно, совсем некогда». А на сердце было тяжело и ночами не спалось. Он вставал, бесшумно одевался, стараясь не разбудить жену. Она просыпалась:

— Ты куда?

— Спи, Разня, пойду подышу.

Он выходил во двор. Луны не было. Свежая прохлада опускалась с гор в мягкую тьму города. Мукан смотрел туда, где тяжело и неприступно уходили в небо вершины. Над самой дальней вдруг вспыхнула голубым, холодным сиянием звезда. Она искрилась и звала.

Письмо ему отдала Разня, когда он вечером вернулся из редакции. Мукан долго смотрел на конверт, почерк был знакомый. Сердце защемило, он опустился на стул и долго смотрел перед собой в какую-то одну точку невидящим взглядом.

— Тебе клохо? — спросила жена.

Он посмотрел на нее:

— Там по ночам во тьме, над горами блуждает одинокая голубая звезда. Ты слышишь, Розия, она зовет меня.

— Пойдем приляжешь, ты устал.

Мукан посмотрел на жену. В ее глазах он заметил скорбь и у самой переносицы на лбу жесткую морщинку.

— Прочти.

Мукан вскрыл конверт.

«Здравствуйте, товарищ Иманжанов. Я передаю вам свой красноармейский привет и желаю всяческого благополучия вашему городу. 16 апреля на имя Булкишева от Вас пришло письмо. В связи с этим сообщаю Вам следующее: Булкишев

— мой командир. Он был для нас лучшим товарищем и другом. Булкишев погиб. Вместе с ним мы потеряли еще двух своих товарищей-красноармейцев. Булкишев был для нас как родной отец, и мы глубоко скорбим по поводу гибели нашего командира.

До свидания, жду Вашего ответа. Степурин Николай Васильевич.»

Теперь ему оставалось только одно: сказать доброе слово о друге людям. Мукан достал из ящиков стола все письма Баубека. Он смотрел на них, написанные до войны, в трагический день ее начала, с фронтовых дорог. Складывал отдельными стопками-холмиками и сам ужасался тому, что делает. Ему казалось, что он зарывает друга в могилу, верши тризну, а друг оставался живым и говорил с ним своими письмами:

«...помнишь эпизод, когда Корчагин был ранен. В его партбилете на клочке бумаги нашли адрес с просьбой: «в случае моей смерти сообщите брату».

Вот и для нас наступило время писать тоже самое. Всем нам выдали по маленькому медальону. Никогда не забудется эта минута.

Знал бы ты, каким смыслом наполняются в такие моменты слова «Смерть» и «Жизнь». Я посмотрел на товарищей. Все молчали.

«Чье имя мне указать? Кому первому передать печальную весть? Если погибну, ох и больно этим раню друга... И все-таки решил: пусть прежде других узнаешь о моей смерти именно ты, самый близкий, преданный мне человек».

Мукан оставлял стопки писем на столе, отодвигал рукопись и уходил в горы. Он поднимался над рашелинами по крутым тропинкам, все выше и дальше. В чистое эхо камней и воды врывался голос Баубека:

«...Как и все я хочу жить. Но жить вместе с фашистами ~~я~~ не могу. Значит, я должен убивать их. Рожденный на Востоке, иду на Запад. Мой народ благословил меня на справедливую кару. Он ждет от каждого из нас Победы. Он встретит меня у гор Алатау, когда я вернусь на Восток».

Горы не встретили его. Они стонут ветрами и плачут дождем. Мукан возвращается домой и снова пишет. Рука тверда: его

друг отдал свою жизнь за Родину. Он бы выпил его горькую чашу, но судьба распорядилась иначе.

«Защищая родную Сары-Арку, всю советскую землю, ты погиб в неравном бою. Рядом с тобой на полях родной Украины, погибли многие твои ровесники. Теперь эта земля, освобожденная от фашистов, вновь зацвела.

На могиле твоей люди Украины, о которых ты слагал стихи, посадили красные цветы. Женщины уронили слезы. Это — любовь народа. Ты воспевал в стихах украинскую девушку, сумевшую поставить любовь к Отчизне выше своей любви.

А сегодня люди слагают песни о тебе. О твоей любви к народу, к Жанне, о подвиге твоём.

Пусть пухом будет тебе земля! Прощай, брат мой! Твой всегда Тауулы, сын гор».

Утром Муқан отнес свой поминальный плач в редакцию. 21 мая 1944 года газета «Соцналісттик Казахстан» напечатала эпитафию.

* * *

Едва Жанна перешагнула порог дома, ее оглушила беда. Шолпан-апай сидела распустив волосы, безутешно плакала.

— Что случилось, апай?

Тетушка не ответила, слезы еще сильнее полились из глаз по рукам, прижатым к лицу.

Девушке стало страшно, сердце окатила горячая волна, стало больно и жарко в груди. Опаленные глаза выхватили из лежащего на столе листка бумаги одно только слово: «погиб!» Опять в наш дом пришла смерть. Теперь она настигла любимого брата Хасена. Жгучие слезы горошинками покатились по щекам. «Как их удержать? Нужно взять себя в руки и успокоить вдову: что-то сказать? Найти слова утешения? Где найти их, когда самой хочется реветь? Да как найти силы, чтобы запретить родному человеку плакать? Не верить в случившееся. А «похоронка» перед глазами. Жанна смотрит на Шолпан-апай:

— Не плачь, родная, не рыдай.

Медленно течет в доме время. Когда же рассвет? Апай утерла слезы.

Глаза ее черные вмиг стали сухими, горячими:

— Жанна, неужели и вправду остались мы без него?

И снова слезы потекли по впавшим щекам.

«Жанна», а не Жаннат, сказала она. Так только Баубек называл меня. Любя, он дал мне это имя, короткое, зовущее. Баубек! Мой Баубек!».

— Неужели и вправду я потеряла Хасена? Душа моя, Жанна, вспомни стихи Баубека о смерти...

— Что печально в мире этом: смерть печальна,

Молодой вдовы тоска-изначальна,

Ее чистая душа в черном горе выстынет,

Надорвется ее сердце — боль не вынесет!

Губы Шолпан-апай беззвучно повторяют последнюю строчку. С фотографии на стене смотрит Баубек, с другой фотографии — Хасен. Две женщины в большом, пустом и чистом доме ждали их с войны — не дождались.

Трудно наступает рассвет. Смотрит в окно пустыми, безразличными глазами нового дня, дня без них.

— Где они?

В ответ — безмолвие и пустота.

— Жанна! Поспи, отдохни, — говорит Шолпан-апай. «О чем она?»

— Приляг сама!

Кочает головой из стороны в сторону, безвольно и безутешно:

— Приляг, усни...

Шолпан-апай ходит от стены к стене, от стены к стене. Остановилась. Села. Открыла старинный скрипящий сундук. Вынула письма. Перебирала, читала шепотом, всхлипывала:

— Хасен, мой Хасен!

«Спешу тебя уведомить, моя родная, что я жив-здоров, что наступаем и теперь нас не остановить. А это значит, что скоро Победа, что скоро буду дома и обниму тебя... Почему мы так мало обнимались, Шолпан? Нам казалось, что жизнь

бесконечна, и что все самое главное у нас впереди. Впереди — да, это правда...» Шолпан-апай вынула детскую рубашонку, слезы орашают бязь... Она прижала ее к груди.

Жанна подошла к тетушке, обняла ее вздрагивающие плечи, прижалась — почувствовала жар ее тела.

Так сгорает человек, так жжет любовь».

— Жанна-жан, это рубашка моего маленького Досбола. Будь сын жив, легче было бы перенести смерть Хассена. Ласково гладит, нюхает она рубашенку:

— Какая маленькая и какая красивая! Какой хороший запах! Ты слышишь, Жанна?

— Уже совсем светло — я пойду в школу, надо предупредить, чтобы вас не ждали. За стеной не спят соседи. И чей-то женский голос сказал:

— Бедняжка, как она любила своего мужа...

Другой сочувственно и горько ответил:

— Война!

Скрипнула дверь. Шолпан-апай. Прямая и строгая. Только черные глаза сухо горят, в них мольба.

— Где вы были, тетушка?

— Небеспокойся, Жанна, душа моя, разве я далеко уйду, здесь у меня все и ты.

Шолпан-апай гладила светлые, мягкие волосы девушки, смотрела на нее по-матерински все понимающе — ласково и говорила, будто вовсе и не с ней, а сама с собой:

— Была я в детском доме. Теперь нас будет четверо. Знаешь, что такое быть матерью, Жаннат?

— Почему вы спрашиваете меня об этом? — Конечно, знаю!

— Нет, Жаннат, не знаешь. Ты еще очень молода для того... Только родив, поймешь...

— Успокойтесь, апай.

— Я спокойна, Жаннат, теперь я очень спокойна.

Жанна невольно отшатнулась от нее. Шолпан-апай приблизилась снова, как ребенка потрепала ее по волосам:

— Какие они у тебя удивительные, золотые, как у сказочной пери, крылатых женщин. Говорят в древности они охраняли

людей от злых духов... Это было очень давно, Жаннат, так давно, что даже не известно когда... Колша-батыр умирал от жажды. Весь израненный врагами, он просил у Бога смерти. С высокого неба паря, спустился белый гусь. В оранжевом клюве птица несла капельку воды. Бесценная росинка смочила губы батыра. Колша открыл глаза, поднял голову и увидел красавицу. Когда у них родился голубоглазый сын с золотыми волосами, батыр назвал первенца казах: каз-гусь, ак — белый, отсюда и пошли казахи.

Шолпан - апай смотрела на девушку и глаза ее становились все спокойней, а сама она все уверенней в своем решении.

— Жизнь бесконечна, Жаннат. Перед смертью моя бабушка сказала «Слава аллаху, о большем и не мечтала. Умираю не сожалея, — ведь после меня останутся дети». Только теперь я поняла весь смысл ее слов. В детском доме, Жаннат, два малыша схватились за подол. Назвали мамой.

Жаннат, завтра приведем их в наш дом. Нас теперь будет четверо. Мальчишки - продолжение жизни моего Хасена и твоего Баубека. Было уже далеко за полдень. Косые лучи солнца струясь, заполняли комнату. Там за окнами в своих заботах куда - то спешили люди, Баубек шел рядом с ней среди этих людей, по цветущему яркому городу. Он брал ее за руки, смотрел в ее глаза своими большими, карими широко раскрытыми глазами и читал свои стихи:

— «..За счастье жить — я жизнью заплачу!»

Жанна молчала, скорбь заполнила всю ее:

— «Надорвется... сердце - боль не вынесет!»

Далеко от Алма-Аты за горами Зайлийского Алагау, за степью, за Волгой, за Днепром, у села Новоюльевка, возле бескрайнего поля, которое он смог перейти, стоит немудрено сколоченный щит, на нем надпись: «Колхоз имени Богдана Хмельницкого. Поле имени славного сына казахского народа поэта - война Баубека Булкишева».

Августовским, еще нежарким утром с восходом солнца привел сюда свой комбайн колхозный механизатор Дмитрий

Татценко. Ширь окрест, неоглядная ширь, тучная зелено-золотым подсолнечником — ждала.

— И как вы справитесь один с силой такой, Дмитрий Петрович?

— Я не один.

Татценко взглядом указал на памятный щит у самой дороги. Маленькие солнца земли едва покачивались тяжелыми желтыми пятнами. Они утверждали слова своего хозяина. Они знали, что на будущий год также тучно вырастут снова, ухоженные его трудолюбивыми руками. И так будет вечно, пока будет плодоносить земля, и в этом ее бессмертие, и наше, людей на ней живущих.

* * *

Горы тонули в зеленом покрывале оживших после зимней спячки деревьев. Воздух был напоен ароматом набухших почек, клейковинной едва прсклюнувшихся листьев, березовым соком, молодой травой, ожиданием первого грозового дождя. Ермаганбет сказал:

— Пойдем я покажу тебе чудо.

Ущелья еще дремлют, заполненные мраком ушедшей ночи. С черных блестящих скал каплет осевший туман. Вдали проборабанили камнепад. И снова тишина. Над горами встает солнце, огромное и чистое. В его все пронизывающем свете пастельные краски гаснут поглащенные золотым сиянием. Откуда-то с юго-запада, от реки несется шелест, переходящий в свист. Ермаганбет проворно прикладывает палец к губам, поднимает лицо и осторожно переводит взгляд к небу. Я смотрю туда же. Ничего кроме первоизданной синевы. И, вдруг, из самой глубины ее появляется стремительное движение белой стрелы, через мгновение — второй...

— Ак дэйлек — белый аист — говорит Ермаганбет.

Первая пара движется легко, вытянув шею и ноги, красным сстрием клюва сверлит воздух, то медленно, то быстро, взмахивая крыльями, то вовсе не двигая ими, кружит над широкой, изумрудной низиной, звенящей речкою. Птицы резко щелкают клювами, зовут. И не напрасно. Появляется вторая, третья пара, целая стая садится неподалеку.

Они не замечают нас. Они слишком заняты сами собой. Анст раскланиваясь, прохаживается вокруг подруги, то и дело вскидывает вверх алый клюв, касается им земли, начинает усердно трещать, кружится, легко приплясывает, размахивая крыльями. Это их ритуал брачных игр.

— Журавли, конечно, танцуют красивей, — говорю я своему спутнику.

Ермагамбет не отвечает. Он что-то напряженно ждет, и не собирается уходить, хотя солнце подходит к зениту, а дорога предстает дальняя.

Стая поднимается.

— Улетят? — Взволнованно спрашивает Ермагамбет, скорей у самого себя, чем у меня.

Я понимаю его. Ему очень хочется, чтобы ансты остались в Улытау, потому что по древнейшим преданиям всех народов земли, красивые эти птицы приносят людям счастье.

Улытау—Москва—Днепропетровск—Джезказган.
1980 год — апрель 1991 года.